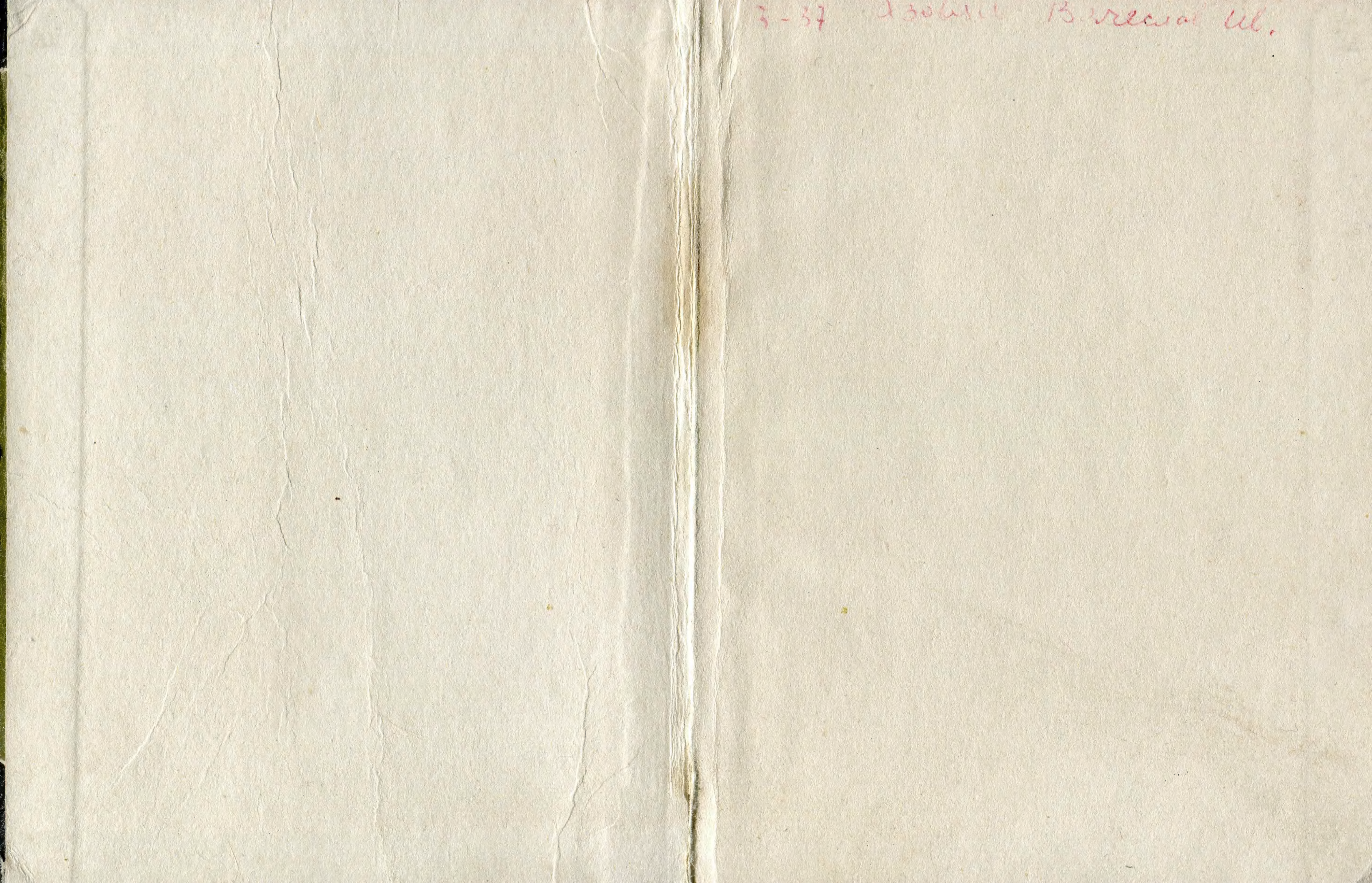
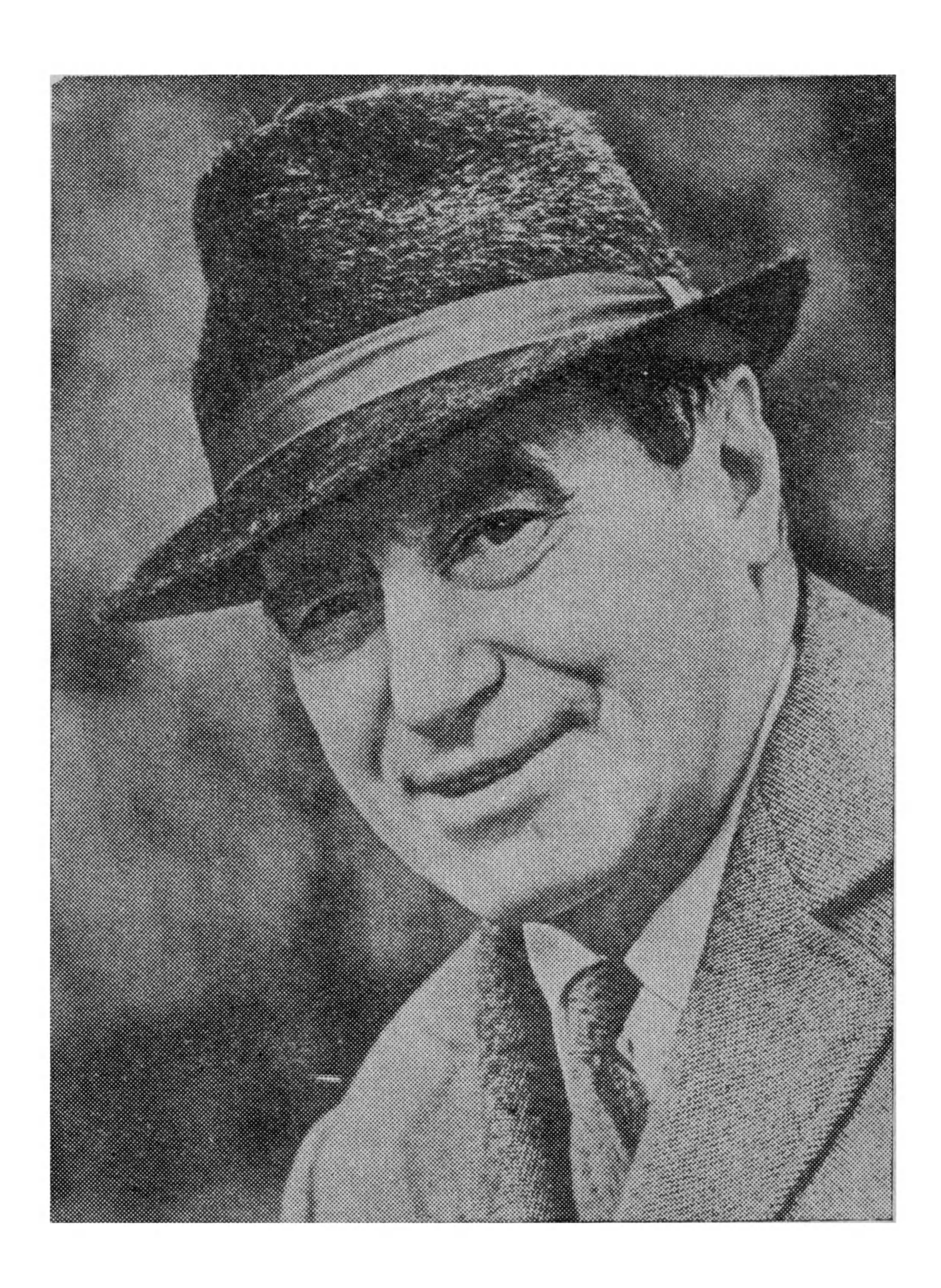


МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ

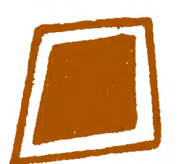
СП


3-37

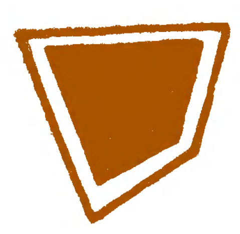




Валентин Катаев



МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ



Советский писатель
МОСКВА
1965

Р2
К29

О своей новой работе Валентин Катаев говорит такими словами: «Эта книга не исторический очерк, не роман, даже не рассказ. Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания, точнее всего лирический дневник, не больше. Но и не меньше».

Книга эта посвящена В. И. Ленину, его жизни в Париже, на Капри, в Швейцарии, его ближайшим друзьям и родственникам, с которыми он в предреволюционные годы встречался, работал, спорил, мечтал о будущем. Материалы историко-архивного характера перемежаются в повести сценами бытовой и социальной обстановки, рассказом о выдающихся деятелях культуры и революционного движения. Многие страницы посвящены зарубежным встречам В. И. Ленина с Горьким, Монтегюсом, дочерью Маркса Лаурой, Полем Лафаргом и другими.



Однажды мы засиделись до трех часов ночи у Эльзы Триоле и Луи Арагона, которые тогда еще жили недалеко от Оперы на старинной улице Сурдье, и они пошли нас проводить до стоянки такси. Когда мы, держась за холодные стены и боясь разбудить консьержку, с которой Арагон состоял в одной партийной ячейке, спустились по темной винтовой лестнице, а затем вышли на темную улицу, поэт показал нам на противоположной стороне старый дом, как-то по-оперному освещенный одиноким фонарем, бросавшим на дряхлый фасад свой слабый световой веер.

— Обратите внимание на эти четыре окна во втором этаже,— сказал Арагон.— Здесь жил Максимилиан Робеспьер. Он был мой сосед.

«Мой сосед Робеспьер»— это было сказано совсем по-парижски. Кажется, в мире нет ни одного великого человека, имя которого не было бы связано с Парижем. В Париже жил Маркс, в Париже жил Ленин. И подобно тому, как Арагон сказал: «Робеспьер — мой сосед», — мне хочется сказать: «Ленин — мой современник».

Тема Ленина огромна, необъятна, а эта книга не исторический очерк, не роман, даже не рассказ. Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания, точнее всего лирический дневник, не больше. Но и не меньше.

Мы привыкли представлять себе Ленина по наиболее распространенному фотографическому портрету двадцатого года — В. И. Ульянов (Ленин), глава Советского правительства, первый председатель Совета Народных Комиссаров, а также по изображению Ленина в театре и кино. Но как бы ни был талантлив, гениален актер, разве может он полностью перевоплотиться в Ленина? Может быть, получится значительный, даже глубокий исторический образ, но не будет живого, подлинного Ленина, такого неповторимо оригинального, со всеми его внутренними и внешними особенностями. Думаю, это невозможно.

«Если верно,— говорит Кржижановский,— что самая сущность движения пролетариата исключает внешнюю фееричность и показной драматизм в дейст-

виях главного героя этих революций — народной массы, то не вправе ли мы ожидать выявления особой, так сказать, простоты и в тех лицах, на долю которых выпадает крупная историческая роль истинных вождей пролетариата? Во всяком случае, это отсутствие внешнего, показного блеска было характерной особенностью Владимира Ильича».

Почти все знавшие Ленина свидетельствуют, что нет хороших портретов Владимира Ильича. Это общеизвестно. Например, тот же Кржижановский пишет: «Большинство портретов Владимира Ильича не в состоянии передать того впечатления особой одаренности, которое быстро шло на смену первым впечатлениям от его простой внешности, как только вы начинали несколько ближе всматриваться в его облик».

Для того чтобы представить себе живого Ленина, лучше всего обратиться к свидетельствам современников.

Вот, например, очень интересный портрет Ленина питерского периода, когда он под конспиративным именем Николая Петровича читал лекции в рабочих кружках.

«Открыв дверь,— вспоминает В. А. Князев,— я увидел мужчину лет тридцати, с рыжеватой маленькой бородкой, круглым лицом, с проницательными глазами, с нахлобученной на глаза фуражкой, в осеннем пальто с поднятым воротником, хотя дело было летом, вообще — на вид этот человек показался мне самым неопределенным по среде человеком».

«— Дело в том, что я не мог прийти прямым сообщением... Вот и задержался. Ну как, все налицо? —

спросил он, снимая пальто. Лицо его казалось настолько серьезным и повелительным, что его слова заставляли невольно подчиняться...»

Г. Кржижановский пишет о приятном смуглом лице с несколько восточным оттенком, но стоило «вглядеться в глаза... в эти необыкновенные, пронизывающие, полные внутренней силы и энергии темно-темно-карие глаза, как вы начинали уже ощущать, что перед вами человек отнюдь не обычного типа».

«Аронсон, увидев голову Ленина,— находим у Луначарского,— пришел в восхищение и стал просить у Ленина позволения вылепить, по крайней мере, хотя медаль с него. Он указал мне на замечательное сходство Ленина с Сократом. Надо сказать, впрочем, что еще больше, чем на Сократа, похож Ленин на Верлена. В то время карьеровский портрет Верлена в гравюре вышел только что, и тогда же был выставлен известный бюст Верлена... Впрочем, было отмечено, что и Верлен был необыкновенно похож на Сократа. Главное сходство заключалось в великолепной форме головы. Строение черепа Владимира Ильича действительно восхитительно. Нужно несколько присмотреться к нему, чтобы оценить эту физическую мощь, контур колоссального купола лба и заметить, я бы сказал, какое-то физическое излучение света от его поверхности... Рядом с этим, более сближающие с Верленом, чем с Сократом, глубоко впавшие, небольшие и страшно внимательные глаза. Но у великого поэта глаза эти мрачные, какие-то потухшие (судя по портрету Карьера) — у Ленина они насмешливые, полные иронии, блещущие умом и каким-то задорным весельем. У Ленина глаза так выразительны, так одухотворенны,

что я потом часто любовался их непреднамеренной игрой. У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорей выпуклые. В нижней части лица опять значительное сходство, особенно, когда Ленин носит более или менее большую бороду. У Сократа, Верлена и Ленина борода росла одинаково, несколько запущенно и беспорядочно». А совсем не так, замечу в скобках, как у некоторых артистов, играющих Ленина,— прилично постриженная в парикмахерской, даже немного клинышком, как у процветающего присяжного поверенного.

«Пронизывающий блеск слегка косящих глаз»,— говорит Кржижановский в другом месте. «Вспыхивающие огоньками сарказма»,— прибавляет П. Лепешинский. «Он своим видом напоминал счастливого охотника, который долго выслеживал и охотился за редкой птицей и, наконец, поймал ее в свои силки».

Вот впечатление Васильева-Южина: «...Умные, живые, проницательные глаза и большая, характерная, уже тогда лысая, голова с огромным лбом сразу приковывали к себе внимание, но лукавая усмешка, искрящаяся в прищуренных глазах, вынуждала вместе с тем подтягиваться и держаться настороже. «Хитрый мужик!»— невольно подумал я».

Горький дает Ленина еще более резкими чертами: «Лысый, картавый, плотный, крепкий человек...»

Подобных свидетельств можно набрать сколько угодно: маленький, коренастый, рыжий, лысый, со смуглым скуластым лицом, с карими узкими выразительными глазами, сверкающими иронией и сарказмом, с заразительным, несколько гортанным смехом, настоящий физкультурник: велосипедист, конькобе-

жец, неутомимый пешеход, пловец. Примерно таков был Ленин, по свидетельству людей, хорошо его знавших.

Ленин часто менял свою внешность. Возможно, это была выработанная привычка конспиратора, а быть может, его наружность менялась потому, что он слишком быстро старел.

«Никогда я не видела Ильича таким озабоченным, осунувшимся, как тогда,— вспоминает Р. Землячка 1909 год в Париже.— Травля меньшевиков, отход многих близких и дурные вести из России преждевременно состарили его. Мы, близкие ему, с болью следили за тем, как он изменился физически, как согнулся этот колосс...»

Обратите внимание на альбом ленинских фотографий. Почти на каждой он совсем другой, странно непохожий на себя. Как, например, не схожи между собой Ленин парижских лет и Ленин в Закопане, мечтательно-грустный, с мягкой бородкой и нестрижеными усами, одетый в какую-то старомодную визитку с закругленными полами, с панамой, опущенной на глаза, и с альпийской палкой-топориком в руке — на фоне горного пейзажа. Или вот два Ленина: один четырнадцатого года, постаревший, морщинистый, в мягком широком пиджаке, с невеселыми, погасшими глазами, а другой — Ленин семнадцатого года, помолодевший, в парижском полосатом пиджаке, с узкими, невероятно блестящими глазами, готовый в любую минуту в бой. Я уж не говорю о Ленине в кепке и парике, загримированном под рабочего Сестрорецкого оружейного завода К. П. Иванова, и Ленине первых

дней Октября в Смольном, когда бритая борода только еще отрастала, а кепка оставалась все та же, прежняя, конспиративная — рабочего Иванова,— а сам Ленин был уже главой первого в мире Рабоче-крестьянского Советского правительства.

В конце 1908 года Ленин и Крупская переехали из Женевы в Париж — тогдашний центр русской эмиграции. Но перед этим Ленин ненадолго заезжал к Горькому, которому еще в Лондоне, на Третьем съезде, дал слово побывать у него на Капри.

«Удивительно соблазнительно, черт побери, забраться к Вам на Капри! Так Вы это хорошо расписали, что, ей-богу, соберусь непременно и жену постараюсь с собой вытащить,— писал Ленин Горькому в начале того же 1908 года.— Только вот насчет срока еще не знаю: теперь нельзя не заняться «Пролетарием» и надо поставить его, наладить работу во что бы то ни стало. Это возьмет месяц-другой minimum. А сделать это необходимо. К весне же закатимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь и болтать с Вами».

Наступила весна, однако до последнего дня Ленин колебался: ехать или не ехать? Ситуация сложилась чрезвычайно острая. Буквально накануне своего отъезда на Капри Ленин раздраженно писал Горькому из Женевы: «Ехать мне бесполезно и вредно: разговаривать с людьми, пустившимися проповедовать соединение научного социализма с религией, я не могу и не буду... Я уже послал в печать самое, что ни на есть формальное объявление войны. Дипломатии здесь уже нет места...»

Речь шла о статье Ленина «Марксизм и ревизионизм», где в грозной сноске все было названо своими словами. Вот эта сноска: «См. книгу «Очерки философии марксизма» Богданова, Базарова и др. Здесь не место разбирать эту книгу, и я должен ограничиться пока заявлением, что в ближайшем будущем покажу в ряде статей или в особой брошюре, что все сказанное в тексте про неокантианских ревизионистов относится по существу дела и к этим «новым» неоюмистским и необерклианским ревизионистам».

Разумеется, ехать после этого на Капри к Горькому, окруженному этими самыми ревизионистами, в логово идеалистов-богостроителей, эмпириокритиков и прочих махистов, с которыми Ленин находился в состоянии войны не на жизнь, а на смерть, ему было бесполезно и вредно. Однако у Ленина имелись другие очень важные для партии дела относительно газеты «Пролетарий», требующие его поездки на Капри, к Горькому, и он колебался. В конце концов он решил поехать, но «только под условием, что о философии и о религии я не говорю».

Но из этого твердого решения Ленина не говорить о философии и религии ничего не получилось.

В апреле Ленин по просьбе А. М. Горького посетил его на острове Капри. И здесь объявил Богданову, Базарову и Луначарскому о своем безусловном расхождении с ними по вопросам философии.

Очевидно, философский спор не только состоялся, но и протекал весьма бурно, что, впрочем, не помешало Ленину выполнить всю деловую программу своего пребывания на острове Капри.

Мне ни разу не довелось быть на Капри весной, в апреле, то есть в самое цветущее время года, имеющее здесь особенную прелесть.

Вот как описывает Бунин каприйскую весну:

Вид на залив из садика таверны.
В простом вине, что взял я на обед,
Есть странный вкус — вкус виноградно-серный —
И розоватый цвет.

Пью под дождем, — весна здесь прихотлива,
Миндаль цветет на Капри в холода, —
И смутно в синеватой мгле залива
Далекие белеют города.

Теперь Ленину предстояло увидеть всю эту прелесть воочию. У Горького осталось, как он пишет в своих воспоминаниях о Ленине, очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях. «Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток».

...Удивительно ясно представляется мне апрельское утро на Капри, пристань, а за ней в несколько ярусов розовые, лиловые, голубые, палевые, малиновые домики, как живая мозаика, отраженные в мелких волнах под сходнями только что прибывшего из Неаполя пароходика. Вижу в толпе Максима Горького, худого, сутулого — желтые усы вниз, — в круглой широкопо-

лой вызывающе демократической шляпе, а рядом с ним небольшого ростом, непреклонного крепыша Ленина в новом костюме, сшитом в Женеве, и в твердом котелке на голове.

Есть известная фотография Ленина, относящаяся примерно к этому времени: полосатая тройка, широко завязанный шелковый галстук, твердый крахмальный воротничок, гладко выбритый подбородок, резкая подкова немного свисающих усов, пронзительный, настороженный взгляд.

...Вижу, как Ленин нес туго затянутый ремнями дорожный портплед с подушкой, который пытались выхватить из его короткой, крепкой руки местные факино — носильщики,— а он не давал. Горький вел Ленина, пробиваясь сквозь толпу, по пристани мимо лежащих на боку моторных лодок и скуластых яликов, которые шпаклевали суриком и красили, готовя к туристскому сезону. Пахло жареной рыбой, горячим кофе, анисом, лимонами, винной сыростью из дверей трактирчиков. Тут же стояло несколько одноконных экипажей с курортно-красными колесами. Стройные, вышколенные лошадки — каждая с очень высоким страусовым пером над капризной головкой и в нарядной сбруе — имели совсем цирковой вид, и, видимо, это смешило Ленина: его темно-карие глаза весело сверкали. Горький шел рядом, продолжая своим глухим басом говорить сквозь опущенные просяные усы о Богданове, Луначарском, Базарове.

— Очень крупные люди. Отлично, всесторонне образованные. Не встречал в партии равных им.

Словом, всячески старался примирить непримиримое. И сам понимал, что это — дело безнадежное. Он смотрел на себя как бы со стороны, чувствуя себя отчасти Лукой из собственной пьесы. Смущенно усмехался, отводя глаза в сторону, густо покашливал.

— Допустим,— коротко бросал Ленин.— Ну, и что же отсюда следует?

Горький говорил, что в конце концов считает их — Луначарского, Богданова, Базарова — людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философские противоречия.

Ленин на миг остановился и непримиримо посмотрел на Горького.

— Значит, все-таки надежда на примирение жива? Это зря,— сказал он.— Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам!

Он любил Горького, считал его великим писателем, но истина была для него дороже.

Недавно он начал работать над «Материализмом и эмпириокритицизмом», был полон страстного, нетерпеливого желания поскорее разгромить махистов. С тех пор как он получил богдановские «Очерки философии марксизма», он с каждой прочитанной статьей, по собственному выражению, «прямо бесновался от негодования».

— Нет, это не марксизм! — писал Ленин.— И лезут наши эмпириокритики, эмпириомонисты и эмпириосимволисты в болото.

И вот примирить Ленина именно с этими товарищами, «идущими архиневерным, не марксистским пу-

тем», делал теперь безнадежные попытки Алексей Максимович.

Ленин уже жалел, что приехал. Напрасно, зря, ничего хорошего не выйдет.

Вслед за Горьким он протиснулся со своим портпледом через турникет, щелкавший стальным языком, и они уселись в узком отделении косого, ступенчатого вагончика совсем недавно открытого электрического фуникулера — новенького, лакового, с иголочки. Вагончик тронулся вверх, а ступенчатые террасы садов, каменные заборы, цветущие миндальные деревья, виноградники, прикрытые кое-где от трамонтаны камышовыми матами, косо полезли вниз. Проехала вниз глухая плитняковая стена с маленькой железной дверью и нишей, где стояла раскрашенная статуэтка мадонны, вся в цветах, и светился огонек лампадки. Все это сползало по диагонали вниз, и глубоко внизу уже виднелся совсем маленький порт с дымящимся пароходиком, собравшимся в обратный путь в Неаполь, с моторными лодочками, парусами яхт и совсем крошечным маячком, и молом, и голубым загадочным силуэтом острова Искья на горизонте.

Горький сидел рядом с Лениным, сузив глаза, и задумчиво подергивал кончики усов над бритым солдатским подбородком. Выжидательно помалкивал. А Ленин уже овладел собой, был спокоен, холоден, насмешлив и настроен далеко не мирно.

Есть известная фотография «В. И. Ленин у М. Горького на о. Капри», где Владимир Ильич, в зимнем костюме, в котелке, бритый, играет с Богдановым в шахматы, а Горький в своей знаменитой сдвинутой

набок демократической шляпе, сидя на перилах террасы и как бы возвышаясь над всей группой, подпирает подбородок рукой, но смотрит не на игроков, а прямо в объектив фотографического аппарата; сзади видна волнистая линия гор, и кое-где угадывается туманная полоса Неаполитанского залива.

Недавно я побывал на Капри. Мы отправились разыскивать виллу и террасу, где свыше полувека тому назад Ленин играл в шахматы. В воспоминаниях Андреевой говорится, что это происходило на вилле Бэдус. Оказывается, это или ошибка, или опечатка. Виллы Бэдус не существует. Была вилла Блезус (Villa Blaesus). Милейший доктор Марио Массимино, глава местной туристской организации, большой знаток истории своего острова, рассказал мне, что «синьор Массимо Горки» жил в разное время на трех виллах на Капри: на вилле Беринг, которая сейчас называется «Отель Геркуланум», затем на вилле Пиерина на Via Mulo и, наконец, на вилле Блезус, которая перешла к другому владельцу и называется в настоящее время «Пансион, кафе и ресторан Крупп». Именно на этой, последней вилле и жил Горький, когда у него гостил Ленин. Это оказалось совсем недалеко от нашего отеля, на обратном, южном склоне острова, лицом к бухте Марина Пиккола.

Мы прошли по узкой каприйской улочке — то вниз, то вверх, — и вот перед нами, с левой руки, открылась синяя мгла безмерного морского пространства. К берегу Марина Пиккола террасами сползал сад Адриана с его живописными древнеримскими развалинами, зонтичными пиниями, оранжереями, цветни-

ками и кинематографом под открытым небом. Глубоко внизу, вдали, мы увидели мыс Фаралионе и три громадные скалы, стоящие в воде, словно серые каменные паруса. Между первой скалой и двумя другими были ворота, казавшиеся совсем узкими, а на самом деле сквозь них мог свободно пройти корабль. Далеко за горизонтом была Сицилия, Африка, мерещились великие пустыни земного шара. Мы стали подниматься по каменистой тропинке в сосновой роще, скользя по опавшим иглам, потом среди агав с острым хищным когтем на конце каждого мясистого, узкого листа высотой в полтора человеческих роста, с шипами по бокам, как у рыбы-пилы, потом мимо зарослей исполинских кактусов, покрытых колючими бородавками, похожими на маленьких ежиков. Мы с наслаждением вдыхали бальзамический воздух — сухой и легкий,— между тем как вокруг нас громко, деревянно стрекотали дневные цикады.

Потом мы увидели крутую лестницу из дикого камня и в начале ее доску с надписью «Caffé restorante Krupp». Мы поднялись вверх и очутились перед тем самым домом, где Ленин гостил у Горького. Открыв стеклянную дверь, мы вошли в гостиничный холл. Там в глубоких кожаных креслах, с сигарами и коктейлями сидело несколько элегантных господ — жители отеля. Они посмотрели на нас с тем корректным любопытством, которое всегда вызывается появлением в пансионе новых лиц. Из-за конторки вышла приветливая дама и спросила, что нам угодно.

Узнав, что мы всего лишь просим позволения осмотреть виллу, она, не переставая быть любезной —

но уже несколько в другом роде,—сказала нам по-французски: «S'il vous plaît».

— Наверное, вы слышали, мадам,— сказал я,— что в этом доме некоторое время жил Ленин?

— Конечно,— ответила она все с той же любезностью другого рода,— вы, наверное, поляки или русские? — и покосилась на мой детский американский фотоаппарат.

— Русские,— сказал я.

— S'il vous plaît,— повторила она и сделала гостеприимный жест, означавший, что мы можем осматривать и фотографировать все, что пожелаем, а сама удалилась за свою конторку и перестала обращать на нас внимание. Мы прошли по коридору, куда выходило несколько дверей («Ага,— подумал я,— здесь, наверное, милейшая Марья Федоровна Андреева помещала своих гостей, лекторов будущей каприйской школы, а быть может, и самого Ленина»), и неожиданно очутились на той самой террасе, где некогда Ленин играл в шахматы. Я сразу узнал эту террасу по очертанию гор, видневшихся вдали, и по балюстраде, на которой тогда сидел Горький.

И вдруг я испытал ощущение как бы внезапно остановившегося и повернувшего вспять времени.

Мне представилось, что на террасу вышел маленький, энергичный, резкий Ленин в котелке, слишком глубоко надетом на его скульптурную голову, за ним появилась сутулая фигура Горького и рядом с ней красивая, нарядная дама — знаменитая актриса Художественного театра Мария Федоровна Андреева, погро-

мыхивая шахматной коробкой. Затем — Анатолий Васильевич Луначарский, молодой, в пенсне на черной ленте, в рубахе апаш с раскрытым воротом, в очень широком эластичном поясе с кожаными карманчиками и колечками — по моде тех лет. А там и Богданов... И я услышал грассирующий тенор Ленина, который говорил Горькому, несколько смущенному неясностью своей философской позиции, продолжая спор, начатый в коридоре:

— Вы явным образом, уважаемый Алексей Максимович, начинаете излагать взгляды одного течения... Я не знаю, конечно, как и что у вас вышло в целом...

— Вы мне уже об этом писали.

— Совершенно верно, я вам уже об этом недавно писал. А кроме того, я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества вам все книги в руки и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта и из философии, хотя бы идеалистической...

— Хотя бы идеалистической? — спросил Горький не без торжества.— Я не ослышался?

— Ничуть. При критическом к ней отношении, хотя бы и идеалистической,— твердо ответил Ленин,— потому что вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу. Огромную!..

Лицо Горького посветлело. Улыбка крепко сжала и выперла его небольшие круглые скулы. Он удовлетворенно подергал усы.

Мария Федоровна была в восторге, что на этот раз все обошлось благополучно.

— В шахматы, в шахматы! Довольно философии. Мы же договорились не спорить на философские темы до ужина.

Она тарахтела шахматной коробкой, потом зажала в каждой руке по пешке и протянула кулаки в разные стороны — один Ленину, другой Богданову. Ленин небрежно коснулся правой руки Андреевой. Она разжала кулак. На розовой прелестной ладони лежала черная пешечка.

— Вам начинать,— любезно, но суховато сказал Ленин Богданову и сноровисто расставил фигуры: по всему видно, что опытный игрок.

Вдруг все это исчезло, ушло в прошлое. Передо мною была пустая терраса с горкой мусора в углу, сохнущая на веревке розовая мохнатая простыня, купальный костюм; и старик обойщик в синем фартуке, с гвоздями в губах и молотком в руке, который починял полосатый пружинный матрац, поставленный боком на тот самый шахматный столик, за которым некогда Ленин играл с Богдановым...

Мы спустились вниз по каменной лестнице, по которой не раз спускался и поднимался своей быстрой, энергичной походкой Ленин, любуясь с лестницы мысом Фаралионе, его скалами, дыша бальзамическим воздухом каприйской весны и прислушиваясь к звукам упруго хлопающих ружейных выстрелов, которые время от времени доносились откуда-то снизу. Ленин долго не мог понять, что это за выстрелы, пока Горький не объяснил ему, что это вовсе не выстрелы, а звук волны, хлопающей в устье, одного из многочисленных каменных гротов каприйского побережья.

В это время будущая книга «Материализм и эмпириокритицизм», как любил выражаться Ленин, «была уже у него в чернильнице». Споры на Капри с Богдановым, Луначарским, Базаровым и прочими организаторами фракционной каприйской школы, еще только проектируемой в то время, школы, впоследствии нарочно спрятанной от партии на отдаленном острове, «чтобы прикрыть ее фракционный характер», — как считал Владимир Ильич, — еще сильнее разожгли его, окончательно доказали, что примирение невозможно, война объявлена, и теперь, больше, чем когда-либо, необходимо как можно скорее разделаться с этой новой, «богостроительски-отзовистской фракцией».

В общем, как Ленин и предполагал, поездка на Капри оказалась почти бесполезной, за исключением разве того, что Ленину удалось решить с Горьким кое-какие очень важные технические вопросы относительно издания «Пролетария», а также повторить партийное поручение Марии Федоровне насчет нелегальной доставки в Россию «Пролетария», который должен был скоро выйти в Париже. Инструкции, еще раньше данные Лениным Андреевой письменно, были исчерпывающе точны и по-ленински конкретны: 1) Найти непременно секретаря союза пароходных служащих и рабочих (должен быть такой союз!) на пароходах, поддерживающих сообщение с Россией. 2) Узнать от него, откуда и куда ходят пароходы; как часто. Чтобы непременно устроил нам перевозку еженедельно. Сколько это будет стоить? Человека должен найти нам аккуратного (есть ли итальянцы аккуратные?). Необходим ли им адрес в России (скажем, в Одессе) для доставки газеты или они мог-

ли бы временно держать небольшие количества у какого-нибудь итальянского трактирщика в Одессе? Это для нас крайне важно. И так далее.

На этом Ленин и распрощался с Алексеем Максимовичем и Марией Федоровной. Вскоре после возвращения с Капри в Швейцарию, не теряя золотого времени, он снова переезжает Ла-Манш, чтобы поработать в Лондоне в Британском музее, где находились источники, необходимые ему для быстрейшего завершения «Материализма и эмпириокритицизма». И лишь после этого Ленин и Крупская переехали в Париж, куда переводился «Пролетарий».

Париж окружает кольцо внешних бульваров, носящих имена наполеоновских маршалов: Клебер, Лефевр, Массена и т. д. В конце ноября, в начале сырой парижской зимы, приехав из Женевы, Ленин и Крупская — «Ильичи», как их называли друзья,— наняли квартиру в четырнадцатом округе, недалеко от парка Монсури.

В то время здесь кончался город. Дальше шли поля и фермы. По вспаханной земле ходили грачи, которые зимуют во Франции и никуда не улетают. На горизонте синели холмы и чернели голые рощи.

В представлении «Ильичей», которые всегда жили более чем скромно, новая парижская квартира на улице Бонье показалась слишком роскошной: большая, светлая, в каждой комнате камин с мраморной доской и высоким зеркалом, в котором отражались лепные потолки и окна, доходящие до пола, с решетчатыми жалюзи и низкой железной оградой наружного балкончика.

«...Эта довольно шикарная квартира весьма мало

соответствовала нашему жизненному укладу и нашей привезенной из Женевы «мебели». Надо было видеть, с каким презрением глядела консьержка на наши белые столы, простые стулья и табуретки. В нашей «приемной» стояла лишь пара стульев да маленький столик, было неуютно до крайности».

Так описывает первую парижскую квартиру Ленина Надежда Константиновна Крупская.

Я думаю, что в передней, наверное, стояли еще не распакованные из рогожи велосипеды, что усугубляло неуютность. Это были те самые велосипеды, о которых упоминает в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич:

«Одно время, после второго съезда, Владимир Ильич жил в городе Лозанне, на Женевском озере. Мне часто приходилось там бывать по делам нашей организации. И вот однажды, когда Владимир Ильич собирался отправиться в двухнедельное путешествие по Швейцарии, я приехал к нему, чтобы переговорить о многих делах и наших изданиях, а также условиться, куда пересылать самую экстренную почту и газеты. Встретил я Владимира Ильича весьма оживленным.

— Пойдемте-ка,— сказал он мне,— я покажу вам, какой замечательный подарок мама прислала мне с Надей!— И он быстро, увлекая меня, пошел к выходной двери. Мы спустились вниз, во дворик дома. Здесь стояли только что распакованные новенькие, прекрасные два велосипеда: один мужской, другой женский.

— Смотрите, какое великолепие! Это все Надя наделала. Написала как-то маме, что я люблю ездить на

велосипеде, но что у нас своих нет. Мама приняла это к сердцу и коллективно со всеми нашими сколотила изрядную сумму, а Марк Тимофеевич (это был Елизаров, муж Анны Ильиничны) заказал нам в Берлине два велосипеда через общество «Надежда», где он служил. И вот вдруг — уведомление из Транспортного общества: куда прикажете доставить посылку? Я подумал, что вернулась какая-либо нелегальщина, литература, а может быть, кто выслал книги? Приносят — и вот вам нелегальщина! Смотрите, пожалуйста, какие чудесные велосипеды! — говорил Владимир Ильич, осматривая их, подкачивая шины и подтягивая гайки на винтах.— Ай да мамочка! Вот удружила! Мы теперь с Надей сами себе господа. Поедем не по железной дороге, а прямо на велосипедах.

— Рад, как ребенок! — шепнула мне Надежда Константиновна.— Ужасно любит мать, но не ожидал такого внимания от всех наших и сейчас прямо в восторге...

Обо всем переговорив и условившись об адресе для телеграмм и писем, мы спустились по парадной лестнице вниз.

— До свидания, товарищи! Надя, садись! — крикнул Ильич и быстро вскочил на велосипед.

Надежда Константиновна, раскланиваясь с нами, уверенно выехала за ним, и они быстро скрылись за поворотом шоссе, утопающего в цветущей зелени».

Не могу удержаться, чтобы не привести этой живой сценки, тем более что в дальнейшем Ленин неоднократно будет фигурировать в качестве велосипедиста, что весьма типично для его парижского быта.

В Париже, по выражению Надежды Константиновны, жилось очень «толкотливо». В то время сюда со всех сторон съезжались эмигранты социал-демократы. Париж стал партийным центром. Ленин очень быстро применился к Парижу. По внешности в нем не было ничего похожего на русского интеллигента социал-демократа. Настоящий средний парижанин. Скорее всего какой-нибудь клерк или коммивояжер в котелке и с тросточкой, в узком пальто с бархатным воротником, из числа тех, которых в эти годы можно было встретить во всех больших городах Европы.

Мне рассказывал И. Ф. Попов, хорошо знавший Ленина парижского периода, что он просто ахнул, впервые увидев Ленина в таком преображенном виде.

— Владимир Ильич! На кого вы похожи? Вы же типичный французский коммивояжер.

— Нет, в самом деле? — спросил Ленин с любопытством.— Похож на коммивояжера?

— Не отличишь. Как две капли воды.

— Не выделяюсь в толпе?

— Совершенно не выделяетесь.

— Так это же замечательно! — воскликнул он.— Просто великолепно! Именно то, что и требовалось доказать, так как здесь, несмотря на хваленую французскую свободу, легко можно налететь на шпика из русской охранки, что было бы весьма нежелательно. А в таком виде я легко растворюсь в толпе и, как любит говорить Надя, своевременно смоюсь.

И он захохотал своим глуховатым, несколько гортанным смехом.

Среди прочих социал-демократических эмигрантов, до поздней ночи просиживающих в кафе Орлеан,

своей штаб-квартире, появился также и товарищ Инок (Дубровинский), недавно бежавший из Сольвычегодской ссылки. Он приехал в ужасающем состоянии: по пути в ссылку кандалы почти до кости натерли ему ноги; образовались зловещие раны. Эмигрантские врачи — социал-демократы — решили, что надо без промедления удалить ногу. Для Инока это была катастрофа. Он был близок к самоубийству.

Но Ленин, по свойству своего характера — никогда не отступать перед трудностями и не сдаваться, решил испробовать все средства, чтобы спасти товарища от ампутации ноги, которая в его положении была равносильна смерти.

Ленин бросил все дела и немедленно повез Инока к парижскому профессору-хирургу Дюбуше, американцу французского происхождения, который во время революции пятого года работал в качестве врача в России и был рекомендован Ленину Наташей Гопнер, знавшей Дюбуше по Одессе.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что я тоже знал знаменитого хирурга. Я даже был знаком с ним лично. Мы жили в Одессе, на так называемой даче «Отрада», где совсем недалеко от нас находилась больница Дюбуше, весьма популярная в городе, так как сам доктор Дюбуше слыл не только выдающимся хирургом, делавшим буквально чудеса, но также и очень «красным», как назывались в то время революционеры. Было известно, что в девятьсот пятом году, во время баррикадных боев, он оказывал медицинскую помощь раненым дружинникам и часто прятал их в своей больнице от полиции.

О нем ходили легенды. Шепотом передавали друг другу, что после подавления одесского вооруженного восстания в мертвецком покое больницы Дюбуше одесские революционеры-боевики прятали оружие, а охранка будто бы напала на след, и мы, мальчики из «Отрады», или, как нас называли, отрадники, по целым дням торчали на полянке против больницы Дюбуше, с ужасом ожидая, чем все это кончится. А кончилось очень странно: однажды ночью, как утверждали очевидцы, из больницы Дюбуше какие-то люди вынесли черный гроб и в сопровождении факельщиков отнесли на второе христианское кладбище. В том, что из больницы вынесли покойника, не было ничего удивительного, но зачем это сделали глухой ночью, при факелах?

Некоторые мальчики, в том числе Мишка Галий, ставший впоследствии известным под именем Гаврика Черноиваненко, под страшной клятвой доверили мне тайну, о которой слышали от взрослых: в гробу лежало оружие боевиков-дружинников — браунинги, смит-вессоны и лефоше,— которое перенесли куда-то в более безопасное место, на Сахалинчик, а может быть, даже действительно похоронили на кладбище. Не знаю, была ли это правда. Знаю только, что утром на тротуаре возле больницы Дюбуше я сам, своими глазами, видел смоляные капли, которые вели из «Отрады» на французский бульвар, а дальше терялись. И долго еще мне снилась зловещая похоронная процессия, большой, страшно тяжелый гроб и в руках людей в глухих капюшонах дымящиеся смоляные факелы, с которых падали на тротуар черные расплавленные капли. Вскоре полиция произвела в больнице Дю-

буше обыск, но, конечно, ничего не нашла: по своему обыкновению, опоздала. Доктора же Дюбуше взяла на заметку.

Познакомился я с доктором Дюбуше при следующих обстоятельствах. Не нужно говорить, что я был отвратительный мальчишка, который постоянно доставлял массу неприятностей. Это само собой понятно. Так вот однажды мне пришла в голову мысль научиться вязать. Почему-то я был уверен, что это «пара пустяков». Я мечтал удивить свое семейство, связав в один прекрасный день салфетку, занавеску или какую-нибудь другую полезную для хозяйства вещь.

Я выкрал у старенькой бабушки — папиной мамы — стальной вязальный крючок и клубок черных ниток, из которых старушка постоянно вязала себе на голову кружевные нашлепки, похожие на сетку паука, и принялся за дело. Но не прошло и минуты, как дом огласился моими воплями, так как я воткнул вязальный крючок в указательный палец, во внутренний сгиб между первой и второй фалангой. Крючок крепко засел в мясе, и никакими силами и хитростями его нельзя было оттуда извлечь: не пускала проклятая насечка. При малейшем прикосновении к крючку я визжал, как зарезанный, обливался потом, дрожал, и у меня уже начали синеть губы.

Тогда тетя надела шляпку, схватила меня за здоровую руку и потащила в больницу Дюбуше. Мы мучительно долго сидели в сумрачной приемной, где стояли устойчивые, зловещие запахи карболки и эфира, не предвещавшие ничего хорошего, и я продолжал рыдать и дрожать, так как о докторе Дюбуше ходила слава как о большом грубияне. Больные приходили к не-

му на прием, содрогаясь от страха, и ожидали от знаменитого француза каких-нибудь ужасных поступков.

Свободной рукой я размазывал по лицу слезы, а тетя, дрожа, поддерживала висящий на пальце крючок и бормотала:

— Этот мальчик когда-нибудь нас всех уложит в гроб.

Вдруг перед нами появился громадный — как мне тогда показалось — мужчина в модном заграничном костюме, просторном и вместе с тем удивительно хорошо сидящем на его плотном теле, в блестящих штиблетах, с коротко остриженной, большой, круглой, побычьи опущенной головой и эльзасски-голубыми, бычьими глазами, выпукло и грозно глядевшими на меня и на тетю из-под стекол наимоднейшего парижского пенсне — золотого с пружиной.

Это был сам Дюбуше, спустившийся к нам, как некое божество. Тетя начала быстро и пространно объяснять, при каких обстоятельствах произошла катастрофа, и умоляла профессора немедленно положить меня в больницу и оперативным путем под хлороформом удалить вязальный крючок, причем, ломая пальцы, умоляла великого хирурга сделать операцию лично, не доверяя своим ординаторам. «Чего бы это ни стоило, чего бы это ни стоило»,— повторяла она, и нос ее на самом кончике покраснел, как клубничка.

Но Дюбуше не обратил на нее внимания. Я не уверен даже, что он ее вообще заметил. Он повернулся ко мне, с нескрываемым отвращением взглянул на мое замурзанное лицо с такими лиловыми губами, как будто я напился школьных чернил, затем взял меня

одной рукой выше локтя, так что я почувствовал все пять его железных пальцев, а другой поймал крючок и, не обращая внимания на мои предсмертные крики, в мгновение ока вырвал из пальца окровавленный крючок, брезгливо отдал его тете и, сказав: «Ведите этого сопляка домой», удалился, не только не пожелав сделать перевязку или хотя бы на худой конец помазать крошечную ранку йодом, но даже не взглянув на трешку, которую тетя судорожно сжимала в сухом кулачке.

Так состоялось мое первое и единственное знакомство с доктором Дюбуше.

Возможно, что образ Дюбуше, который остался в моей памяти, был нарисован пылкой фантазией перепуганного насмерть мальчишки с вязальным крючком в пальце. Может быть, не было ни голубых «эльзасских» глаз, грозно глядевших из-за стекол наимоднейшего парижского пенсне. Быть может, не было даже этого самого пенсне «с золотой пружинкой». А было только умное, саркастическое лицо хирурга, показавшееся мне с перепугу ужасным, как лицо Петра в момент Полтавской битвы: «Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен». Так вот, может быть, Дюбуше в тот миг был одновременно и ужасен и прекрасен. Не знаю, не знаю. Как кому нравится. Знаю только, что вскоре Дюбуше был арестован и выслан за границу постановлением одесского генерал-губернатора без права въезда в Россию.

Так вот именно к этому человеку и повез Ленин товарища Инока через весь Париж на метро, которое тогда еще не доходило до Порт-Орлеан.

Услышав рассказ Ленина о том, каких страстей наговорили врачи про натертую ногу Инока, и бегло осмотрев ее, Дюбуше спросил:

— Так они советуют ампутацию?

— Да. Ампутацию, — ответил Ленин.

— А что это за врачи? — спросил Дюбуше.

— Наши, русские, эмигранты, социал-демократы.

— Революционеры? — спросил Дюбуше.

— Революционеры,— сказал Ленин.

— Так ваши товарищи врачи, — прорычал Дюбуше,— может быть, и хорошие революционеры, но как врачи — они ослы.

Таким образом нога Инока была спасена.

Ленин хохотал до тех пор, пока слезы не выступили у него на глазах, и потом часто повторял эту фразу, применяя ее к разным случаям эмигрантской жизни. Фраза Дюбуше стала у него поговоркой:

— Может быть, они и хорошие революционеры, но как врачи — ослы.

Ленин уже и раньше бывал в Париже и составил о нем определенное мнение: «Париж — город очень неудобный для жизни при скромных средствах. Но побывать ненадолго, навестить, прокатиться — нет лучше и веселее города».

Но в данном случае Ленину и Крупской при скромных средствах пришлось надолго засесть в этом неудобном городе. Однако делать нечего — этого требовали партийные задания. Жить в шикарной квартире на улице Бонье оказалось совсем не по карману. И через некоторое время «Ильичи» переменили место

жительства. Теперь они поселились в том же районе, на небольшой тихой улочке с милым, несколько сентиментальным названием Мари-Роз, в двухкомнатной квартире с кухней и газом, во втором этаже, с окнами, выходившими в какой-то сад. Теперь этого сада уже давным-давно нет, а на его месте стоит скучный кирпичный дом. Но тогда, при Ленине, был сад. И Ленин смотрел на него в окно.

Несколько лет назад один старый писатель, знавший Ленина парижского периода, нарисовал в моей записной книжечке план, по которому я мог бы сам, без посторонней помощи, добраться до улицы Мари-Роз: сначала на метро до станции «Алезия», рядом с церковью Святого Петра, а там рукой подать, пешком. Нам именно хотелось самим, никого не спрашивая, найти дом, где жил Ленин. В этом была какая-то особая прелесть. И вот, выйдя из метро на станции «Алезия», мы пошли по «ленинскому району», то и дело справляясь с чертежиком в записной книжке.

Чувствовалось, что это уже рабочий район где-то недалеко от окраины. А в то время, когда здесь жил Ленин, это была, конечно, настоящая окраина, которая только что стала застраиваться новыми доходными домами, непохожими на старинные парижские дома, с высокими графитными крышами, под которыми зачастую помещались уступами одна над другой две мансарды. Новые дома были скорее какого-то универсального общеевропейского стиля модерн начала двадцатого века, и в отличие от темных, узких, старинных парижских домов в них можно было найти маленькую, но вполне приличную двух- или трехком-

натную квартирку со всеми удобствами, даже с ванной. Именно такой не вполне французский, наждачно-серый, еще не успевший как следует почернеть от фабричной копоти дом № 4 увидели мы на середине совсем коротенькой улицы с эмалированной табличкой «Мари-Роз». Под балкончиком одного из окон второго этажа мы увидели мемориальную доску с маленьким лобастым профилем Ленина.

Улочка Мари-Роз, или, по-русски говоря, переулок, была пуста, и ветер волок по чистым тротуарам кучи пожелтевших платановых листьев. Шел почтальон в мундире и твердом кепи, делавшем его похожим по крайней мере на офицера, если не на генерала. Из чрезмерно раздутой кожаной сумки, которую он с трудом тащил на ремне через плечо, торчали бандероли, пакеты, свернутые в трубку журналы, свертки с книгами, длинные конверты, испещренные множеством штемпелей и марок — заграничных и французских. Громко насвистывая по обычаю всех парижских почтальонов ядовитую политическую песенку из последнего ревю монмартрского театрика «Два осла» — «Вив Дебре, вив Дебре, вив Дебре, Дебре, Дебре»,— почтальон вошел в «ленинский» подъезд дома № 4. И вдруг я испытал то же ни с чем не сравнимое ощущение, которое испытал недавно на Капри в тот миг, как увидел ленинскую террасу на вилле Крупп: на один короткий миг мне показалось, что время переместилось назад на пятьдесят лет и почтальон несет в адрес mr Oulianoff, на второй этаж, заказную бандероль из России.

Мы вошли в парадное. За стеклянной дверью с белыми кружевными занавесками виднелась комната консьержки и она сама, сидевшая в старом кресле лицом к двери. В руках у нее была чашка кофе. Типичная парижская консьержка: пожилая, но бодрая дама с южными, бдительными глазами и, конечно, небольшими черными усиками на венозно-фиолетовом лице. Не будь она женщиной, из нее получился бы отличный ажан. Она потянула за шнурок, задвижка щелкнула, дверь приоткрылась.

— Мадам, месье? — каркнула она, как ученая птица, и вопросительно-внимательно взглянула на нас.

Я стал объяснять ей цель нашего визита, но она, не дослушав, кивнула головой и указала рукой в черных кружевных митенках с отрезанными пальцами на лестницу.

— Второй этаж, налево. Но, кажется, профессора нет дома, он с утра ушел в библиотеку. Впрочем, поднимитесь. Я думаю, мадемуазель дома. По-моему, она еще никуда не выходила.

По-видимому, консьержка не считала квартиру Ленина настоящим музеем, а рассматривала скорее как частную квартиру, где живет какой-то профессор из «красных», который, как и все эти социалисты и радикалы, бегает утром в библиотеку, как будто это поможет ему разбогатеть. Париж — город традиций. Весьма возможно, что еще со времен Ленина повелось, что в этой квартире постоянно жил какой-нибудь бедный ученый, радикал, бегавший по утрам в библиотеку. Так и сложилась традиция, незыблемая в глазах консьержки.

Проводив нас глазами до самой лестницы, эта по-

чтенная дама закрыла дверь и затем неторопливо взялась за фаянсовый кофейник с тем, чтобы подлить в толстую, объемистую чашку горячего кофе. Было заметно, что она чувствует себя опорой порядка и власти и живет в полное свое удовольствие.

Мы стали подниматься по витой лестнице, сделанной из легкого, музыкального дерева, до зеркального лоска натертого парафином. Эта типично парижская лестница начиналась внизу, у первого витка, легким столбиком с медной, ярко надраенной шишечкой, от которой шли вверх спиралью круглые перила с изящно выточенными, легкими балясинками. Не только звуки наших ботинок, но даже наше дыхание никуда не улетало, а оставалось тут же рядом с нами и резонировало, как будто мы шли внутри какого-то деревянного, хорошо настроенного музыкального инструмента. Наконец мы остановились возле хорошо натертой двери, и я нажал кнопку маленького электрического звонка.

Было очень тихо, и мы боялись нарушить эту почти церковную тишину для того, чтоб обменяться впечатлениями и мыслями, которые явились в одно и то же время и были одинаковыми: а что, если вдруг откроется дверь и мы увидим на пороге живого Ленина или, вернее всего, Надежду Константиновну Крупскую с еле заметными признаками начинающейся базедовой болезни — выпуклыми глазами и тяжелым подбородком,— гладко причесанную, с узлом волос на затылке, в домашнем платье, вроде тех, какие носили тогда русские учительницы: белая кофточка, шерстяной сарафан с широкими бретельками, козловые башмаки на пуговицах или прюнелевые туфли.

Дверь отворилась, и молодая француженка в модных очках, сотрудница музея, пригласила нас войти. Эту квартиру уже много раз описывали, хотя, собственно, как музей она не представляет другого интереса, кроме того, что именно в ней жил Ленин. Несколько фотокопий с общеизвестных афиш о парижских лекциях Ленина, фотографий, портретов, диаграмм. Подлинных вещей Ленина — мебели, книг, рукописей — не имеется. Обыкновенная, очень аккуратная, чистенькая, по-французски распланированная двухкомнатная квартирка с коридором, прихожей и кухней, окнами на две стороны и хорошо натертыми паркетными полами, теми самыми, по которым ходил Ленин. Вся магическая, притягательная сила этого места заключалась в безусловной его подлинности: это именно та самая квартира, где жил Ленин, сидел, писал, говорил, спал, думал, смотрел в эти самые окна, открывал эти самые двери, зажигал эти электрические лампочки.

«Несмотря на малые размеры,— вспоминает Т. Людвинская,— квартира не казалась тесной, благодаря царившему в ней образцовому порядку... Быт маленькой семьи Ленина представлял собой загадку для парижских мещан. Крайняя скромность и идеальная чистота. Множество посетителей — и полное отсутствие шума, суеты».

Именно здесь, в этой квартире, провел Ленин самые тяжелые годы эмиграции. «О них Ильич всегда вспоминал с тяжелым чувством,— пишет Крупская.— Не раз повторял он потом: «И какой черт понес нас в Париж!» Не черт, а потребность развернуть борьбу за марксизм, за ленинизм, за партию в центре эми-

грантской жизни. Таким центром в годы реакции был Париж».

В самом же центре этого центра, думаю я, именно и была маленькая квартирка в доме номер четыре на улице Мари-Роз — подлинный центр русской революции.

Мы осмотрели комнаты.

Спальню «Ильичей» можно было представить себе заранее. Две узкие кровати, покрытые либо белыми, тиснеными, так называемыми «марсельскими» одеялами, либо вечными ульяновскими пледами, побывавшими и в Англии, и в Швейцарии, и в Бельгии, и в Финляндии, и в Германии, и в Швеции... Спальня «Ильичей» была всюду одинакова: в Шушенском, в Подольске, в Женеве, в Поронино, в московском Кремле... Такая же она была и здесь, в Париже. В другой комнате, где постоянно работала Надежда Константиновна, стоял простой некрашеный стол, заваленный почтой, — «секретариат» Ленина, его подпольное бюро, куда сходились все наши организации и откуда во все стороны шли ленинские письма, инструкции, шифровки. Здесь же, вероятно, изготовлялись и фальшивые паспорта для подпольщиков-большевиков, или, как их тогда называли, «агентов Ленина».

Ленин же работал главным образом в кафе, в читальных залах, в библиотеках.

В кухоньке пили чай и принимали гостей — местных, парижских единомышленников и приезжих из России. Кухня была салоном в квартире на Мари-Роз. Здесь кипели жаркие споры совсем так, как где-нибудь в деревянном провинциальном домике с мезонином в занесенной снегами России. Отсюда на весь

мир звучал голос Ленина, откликавшегося на все общественно-политические события земного шара,— был ли это конгресс Второго Интернационала в Копенгагене или смерть Толстого, контрреволюция в Персии, победа революционного движения младотурок или рост «нового духа» в Азии... Не было ничего великого или малого в области революции, что бы не аккумулировалось здесь, в этой крошечной квартирке на Мари-Роз, и, конечно, это был в первую очередь главный штаб русской революции, куда сходились все нити грядущего переворота, который планировался именно здесь Лениным и его помощниками. Здесь было будущее России. И вместе с тем здесь всегда царил ленинский, истинно партийный дух простоты, человечности, глубочайшей принципиальности и неподкупности... И, конечно, дух чудесного, тонкого юмора, столь свойственного всей глубоко интеллигентной ульяновской семье, а также и Надежде Константиновне Крупской.

В своих воспоминаниях Т. Людвинская рассказывает, как она после тюрьмы и ссылки приехала в Париж и поспешила к Ленину, чтобы рассказать ему о том, что делается в России.

«Наша беседа подходила к концу. Прощаясь, Владимир Ильич посмотрел на меня и лукаво заметил:

— Так вы говорите, что Париж вас ошеломил, а мне кажется, что вы ошеломили Париж!

И добродушно посмеиваясь, обратился к Надежде Константиновне:

— Посмотри-ка на нашу парижанку!»

Что же произошло? Оказывается, на Т. Людвинской, тогда еще молоденькой девушке, было напялено

длинное, широкое платье с пышными рукавами и допотопная широкополая шляпа; вдобавок к этому у нее были длинные косы. Эта противоестественная смесь Анны Карениной, леди Гамильтон и тургеневской Лизы Калитиной, вероятно, казалась молоденькой революционерке-конспираторше последним криком парижской моды, в то время как уже давно никто в Париже не носил широких платьев и рукавов с буфами, а наоборот, были в моде узкие платья и прямые рукава, так что прелестная конспираторша, изо всех сил старавшаяся «слиться с толпой» и не обращать на себя внимания царских шпиков, которыми кишел Париж, достигла совсем обратного: не было на улице человека, который бы не поворачивался с удивлением вслед этой хорошенькой девушке, похожей на куклу, сбежавшую из музея восковых фигур.

« — Так, — замечает Людвинская, — Владимир Ильич преподал мне урок конспирации».

Драбкина — автор прелестных мемуарно-исторических повестей, — которая в те годы была совсем маленькой девочкой, рассказывала мне, что довольно отчетливо помнит кухню в квартире на Мари-Роз и стол, покрытый клеенкой, за которым Надежда Константиновна поила гостей чаем. Большой чайник кипел тут же на газовой плите.

Однажды во время подобного чаепития Надежда Константиновна вслух пожаловалась, что ужасно устает от вечной мойки чайной посуды. Тогда бородатый, неряшливый, с волосами, зачесанными на лоб, с сонными глазами, философичный Мартов поднял пустой стакан, повертел его перед глазами и бодро воскликнул:

— В чем, собственно, дело, товарищи? Мойка посуды — это с философской точки зрения пережиток. При социализме, когда общественное производство будет поднято на недосягаемую высоту, такой, например, примитивный предмет, как чайный стакан, почти ничего не будет стоить, так что его, вместо того чтобы мыть, гораздо выгоднее будет просто выбросить за окно и взять другой, чистый.

При этом Мартов сделал широкий жест, как бы действительно желая выбросить стакан в окно. Однако Владимир Ильич как-то сбоку, весьма скептически посмотрел на Мартова и холодно заметил:

— Но поскольку у нас еще не социализм, предлагаю товарищу Мартову самым буржуазным образом вымыть свой стакан самому и не обременять Надюшу сверхурочной работой. Мойте, мойте, товарищи, не стесняйтесь,— весело обратился он к гостям,— милости просим к раковине.

«Когда, бывало,— вспоминает Кржижановский,— по гулким коридорам дома предварительного заключения на Шпалерной улице царского Питера, где мне пришлось одновременно с Владимиром Ильичем отбывать тюремное заключение по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», по временам было слышно, как охранники волокут тяжело груженные книгами корзины, я знал, что этот книжный груз последует в камеру Владимира Ильича... Можно ли более образно и убедительно показать отношение Ленина к чтению и значение, которое он придавал книгам... Для своей фундаментальной работы «Разви-

тие капитализма в России» он проделал поистине циклопический труд личной переработки и проверки фолиантов земской статистики... Подобно Марксу, Владимир Ильич был большим знатоком крупнейших европейских книгохранилищ».

Для занятий Ленину всегда была необходима хорошая библиотека. Крупская пишет, что заниматься в Париже Ленину было чрезвычайно неудобно. Национальная библиотека была далеко. Ездил туда Владимир Ильич обычно на велосипеде, но езда по такому городу, как Париж, не то, что езда по окрестностям Женевы, — требует большого напряжения. Ильич очень уставал от этой езды.

На обеденный перерыв библиотека закрывалась. С выпиской нужных книг была также большая бюрократическая канитель... В конце концов у него украли велосипед.

Надо заметить, что с велосипедами Владимиру Ильичу вообще не везло. Но об этом — в дальнейшем.

Итак, каждое утро Ленин ездил на велосипеде в Национальную библиотеку работать. Расстояние туда и обратно — километров пятнадцать.

Осторожно, держа за твердое седло, Ленин сводил по ступеням лестницы подпрыгивающий велосипед, стараясь, чтобы педаль не задела за точеную балясину. Внутри кожаной треугольной сумки на раме под седлом тупо погромыхивали велосипедные инструменты, аккуратно завернутые в полотняную тряпочку. Мимо приоткрытых дверей консьержки, которая бдительными глазами провожала «красного» русского

профессора, о котором уже несколько раз ее спрашивал комиссар полиции, Ленин выводил машину на улицу и прислонял ее к фонарю. Затем он вынимал из кармана маленькие сине-стальные браслетики и надевал их на концы брюк, обернутых вокруг щиколоток. Теперь он приобретал внешность настоящего завзятого велосипедиста. Он брался крепкой рукой за руль, легко заносил ногу и трогался без разбега, прямо с места, как отличный спортсмен, привыкший много ездить по городу.

Вижу позднюю парижскую осень, темное, сырое утро и мглистый воздух рабочих кварталов, кое-где насыщенный слабыми запахами светильного газа и каменноугольного дыма с небольшой примесью чего-то особо парижского: мягкого, каштанового, ванильного, бензинового. На улице Мари-Роз пусто. Но едва Ленин, минуя несколько таких же безлюдных переулков, выехал на прямую широкую Авеню д'Орлеан, как сразу попал в людской поток. Это парижский пролетариат идет на работу.

В пальто с низкой талией, с бархатным воротником, в уже знакомом нам котелке, широкоплечий, приземистый, выставив гладко выбритый подбородок, Ленин медленно пробирался вперед, лавируя среди пешеходов, велосипедистов, фургонов, грузовиков, тележек, почтовых трехколесных «гупмобилей», плотно забивших улицу.

Он привык начинать свой трудовой день при низком звуке фабричных гудков, которые как бы стоят в этот ранний, неприютный час вокруг всего Парижа,

производя странное впечатление прутьев толстой решетки — мучащие, густые, навевающие на душу уныние.

Он привык по утрам видеть вокруг себя кепки, шерстяные шарфы, потрепанные пиджаки, куртки, традиционные синие рабочие блузы, опущенные усы, мокрые от наскоро выпитого кофе. Он привык слышать звук медленно движущейся толпы парижских пролетариев, напоминающий неотвратимый тяжелый гул мельничного жернова. Из них, наверное, многие — сыновья коммунаров, а некоторые, быть может, и сами дрались на баррикадах — старики с худыми, как бы выточенными из крепкого дерева галльскими лицами, с орлиными носами и седыми эспаньолками. Знают ли они, что среди них едет на велосипеде человек, который через несколько лет возглавит первую в мире социалистическую революцию и, главное, доведет ее до полной, окончательной победы?

Он почти совсем не выделялся в толпе, он был незаметен, может быть, он и есть тот самый призрак, который бродит по Европе, призрак коммунизма?

Иногда он позванивал в свой велосипедный звоночек, а когда людской поток останавливался на перекрестке по мановению белой дубинки ажана, он упирался одной ногой в обочину тротуара или держался вытянутой рукой за борт какого-нибудь фургона с мебелью или пивом. Пока толпа стояла, он отдыхал, разглядывая звездообразный перекресток, где пересеклись не две и не три, а пять или даже семь улиц, так что каждый угловой дом напоминал узкий треугольный кусок торта. Подобным образом нарезан весь Париж, в котором почти немыслимо найти две парал-

лельные улицы. Все они где-нибудь да пересекаются. Можно сказать, что Париж — наглядное отрицание Эвклида и триумф геометрии профессора Казанского университета Лобачевского с его острейшими углами. Кстати, в Казанском университете учился и Ленин.

На каждом углу — кафе или бистро, крошечный отельчик, ресторан с полосатым желто-красным тентом, синема и непременно три золотых лошадиных головы над лавкой, где продается конина. Цветочный магазин. Афишная тумба. Газетный киоск, сверху донизу увешанный разноцветными журналами, приключениями американских сыщиков Пинкертона, Ника Картера, любовными похождениями красавиц — розоворуких, в тесных корсетах и кружевных панталонах на стройных ножках, в черных ажурных чулках с атласными кокардами подвязок,— и газеты, газеты, газеты. Сверху вниз «Фигаро», «Тан», «Эко де Пари», «Энтрансижан», «Пти Паризьен», «Аксион Франсез»... бесконечное множество газет, таких же шлюх, как эти красавицы с распущенными волосами, текущими, как деготь, по голеньким плечам, или прическами валиком с шиньонами.

«Юманите» Жореса небось засунули в самый конец. А русского «Пролетария» не видно: держат под прилавком, говорят: никто не берет, потому что русская газета; однако это не мешает на самом видном месте держать архиреакционное суворинское «Новое время» и кадетскую «Речь». Черт бы их побрал с их квазисвободой печати!

Чем ближе к центру, тем заметнее изменялся характер города: редела толпа рабочих, постепенно уступая место пешеходам другого рода. Сквозь туман

стало очень слабо просвечивать утреннее солнце; розовато-медный свет — нежный, грустный до слез — ложился на тротуары; обнаженные платаны начинали отбрасывать на стены домов и на витрины еле заметные голубые тени своих обнаженных ветвей, даже не тени, а какой-то сонный намек на тени, кружевной рисунок, как бы с трудом угадываемый сквозь верхний слой переводной картинки в полоскательнице с водой. Но это ненадолго. Минута — и туман сгущается, поглощает крыши и мансарды домов, превращая семиэтажный Париж в трехэтажный. Сеется дождик, тонкий, как пудра. В тумане проплыл силуэт тюрьмы Сантэ — высокая стена с маленькими решетчатыми окошками, глухие ворота, из-под которых наружу выбегают рельсы какой-то странной узкоколейки, которые вдруг обрываются и дальше никуда не ведут. По этим рельсам в дни казней выкатывают зловеще-высокое, ни на что не похожее деревянное сооружение, одно название которого вызывает дрожь отвращения,— гильотина, или, на парижском уличном арго, «вдова». Во Франции казнь должна происходить публично, вне стен тюрьмы. Кого же казнят? Инструмент, изобретенный доктором Гильотеном для целей великой революции, попал в руки контрреволюционной буржуазии. Косой нож гильотины охраняет основы ее государства, его мораль, институты, законы.

Затем Ленин миновал обсерваторию. За высокой глухой стеной еле виден в тумане характерный купол, большие часы, памятник мечтателю-идеалисту Фламмариону, создателю божественной Урании. И все же Камиль Фламмарион приемлем как создатель сказки,

в которой содержится зерно истины — безначальность, бесконечность мирового пространства.

На углу улицы Обсерватуар и бульвара Монпарнас характер Парижа снова изменился. Это уже Париж богемы. До последнего времени богема населяла Монмартр. Но совсем недавно, едва ли не в год приезда Ленина в Париж, началось великое переселение богемы с монмартрских высот на левый берег, в район Монпарнаса. Раньше здесь было лишь одно всемирно знаменитое литературное кафе «Клозери де Лила», что в переводе некоторых русских декадентов звучало приблизительно как «Сиреневые уюты». Здесь некогда царил великий Поль Верлен и его молодой друг, тоже великий, Артюр Рембо, почти мальчик. Это была Мекка, куда стремились правоверные всего самого нового и самого утонченного в области французской поэзии. Для каждого уважающего себя поэта-декадента или просто любителя новейшего искусства было совершенно невозможно, даже неприлично приехать в Париж и не посидеть в «Клозери де Лила», хотя ни Верлена, ни Рембо уже не существовало в природе, а лишь царил их дух, и царил, быть может, даже еще сильнее, чем при их жизни. Вот почему наши русские символисты — Бальмонт, Брюсов, Макс Волошин и прочие — считали своей священной обязанностью, сдвинув набок цилиндр и взбив неряшливую бороду а ля Верлен, сидеть за крошечным мраморным столиком и при свете газовых рожков — от которых лысеют — тянуть через соломинку «тигровый абсент», разбавленный ледяной водой,— довольно живописный напиток мутно-опалового цвета и тошнотворного вку-

са ипекакуаны, но почему-то считавшийся самым изысканным и опьяняющим напитком двадцатого века.

Ленину приходилось посещать это знаменитое кафе, назначая в нем серьезные конспиративные встречи. Здесь легче, чем в другом месте, можно было уйти от слежки и раствориться среди разноликой международной богемы, среди всех этих странных людей в беретах, цилиндрах, барсалинах, котелках, каскетках и даже кепках, которые тянули разноцветные напитки со льдом, дымили сигарами или трубками и так сильно жестикулировали нервными руками, что крахмальные манжеты то и дело с треском выскакивали из сюртучных рукавов, и они их запихивали обратно, а то и, пользуясь случаем, тут же записывали на них карандашом только что пришедшую великую мысль или гениальную метафору.

Гораздо чаще Ленин бывал в кафе «Ротонда» на том же бульваре Монпарнас, но ближе к вокзалу. Там происходили менее конспиративные встречи с французскими социалистами, впоследствии членами Французской компартии. Здесь между французскими социалистами и русскими социал-демократами велись оживленные дискуссии, в то время как за соседними столиками ораторствовали художники, которые покинули одряхлевшие улья Монмартра и теперь роились на вошедшем в моду Монпарнасе. Они делились на «достигших» или «еще не достигших». Здесь можно было встретить множество интереснейших людей, приходивших сюда выпить перед обедом рюмку аперитива — но уже не выходящего из моды абсента, а входящего в моду мартини или мандарин-кюрасо. Здесь в тридцатых годах я застал еще примерно такую же

обстановку, как при Ленине, даже тех же самых людей, завсегдатаев «Ротонды» и «Дома». Париж медленно меняется! Здесь же, на Монпарнасе, в кафе «Куполь», я, между прочим, познакомился с парижской знаменитостью — Шарлем Раппопортом, депутатом палаты, прирожденным полемистом, одним из самых остроумных парижан своего времени. Неряшливый, стремительный, со своими сверкающими саркастическими глазами под захватанными стеклами страшных, громадных очков, делавших его похожим на филина, осыпанный пеплом и перхотью, он был неиссякаемым источником различных партийных историй и анекдотов из жизни французских политических деятелей. С нежной любовью и поистине трогательным благоговением говорил он мне о Ленине как о своем учителе и о величайшем человеке земного шара. Между прочим, это он познакомил Ленина с Лафаргом. Шарль Раппопорт пользовался всеобщей любовью как во всех отношениях блестящий человек. Может быть, он даже был первым парламентским оратором своего времени. Даже, говорят, Бриан уступал ему. Когда-то Бриан был социалистом и дружил с Раппопортом. Потом Бриан предал свою партию и стал ренегатом. Бриан и Раппопорт сделались политическими врагами, всю жизнь продолжая оставаться личными друзьями. Во Франции это бывает. Однако с парламентской трибуны они громили друг друга с яростью и страстью.

За спиной Раппопорта его друзья любили рассказывать историю о том, как Бриан отомстил Раппопорту. Дело было так. Однажды в палате депутатов Раппопорт с исключительным блеском выступил против

Бриана и произнес грозную филиппику в стиле Марата. Левые скамьи и даже часть центра устроили Раппопорту овацию. Тогда взял слово Бриан и сказал всего несколько слов, нежно глядя на Раппопорта:

— Мой друг Шарль Раппопорт выступил здесь против меня воистину как Марат. Я отдаю ему должное. Он сказал, что, как Марат, готов отдать свою жизнь за республику. Но я думаю, что мой друг Шарль Раппопорт напрасно так волнуется. Он может быть совершенно спокоен. Ему не угрожает участь Марата. Он никогда не умрет в ванне.

Это была страшная месть, так как все знали о крайнем отвращении, которое испытывал Шарль Раппопорт к умыванию. Палата депутатов полчаса хохотала и рукоплескала Бриану, причем аплодировали все, даже крайние левые, и, конечно, больше всех неистовствовали ближайшие друзья Шарля Раппопорта... во главе с самим Шарлем Раппопортом. Все это я рассказываю для того, чтобы дать хоть какое-нибудь представление о районе Монпарнас, который миновал Ленин по дороге в Национальную библиотеку.

Дальше дорога Ленина шла через весь бульвар Сен-Мишель, или, на студенческом жаргоне, Буль-миш. Широкая, прямая и многолюдная улица длиной километра в полтора тянулась вниз до самой Сены, поглощенной холодным туманом. Это уже район Сорбонны — целая страна науки, студенческой богемы — Латинский квартал, так не похожий и вместе с тем чем-то очень родственный богеме Монпарнаса, с которым сливается возле «Клозери де Лила», у памятника воинственного маршала Нея, «победителя Москвы», размахивающего своей маленькой шпагой.

Здесь уже вместо бородатых художников с большими этюдниками через плечо, вместо девушек-натурщиц в игривых шляпках, которые, подобрав юбки, торопливо бежали на работу, вместо рамочников, на пороге своих магазинчиков среди штабелей золоченых багетов мастеривших мольберты разных фасонов и приколачивавших к подрамникам еще не загрунтованные холсты, Ленин был окружен студентами в блестящих от дождя макинтошах с небрежно поднятыми воротниками, студентками в бархатных беретах, с клеенчатыми книгоносками в руках, под мокрыми зонтиками, которые вместе со своими отражениями сплошной массой, как лава, текли вниз по Бульмишу, сталкиваясь и упруго отскакивая и цепляясь друг за друга спицами. В окнах многочисленных студенческих кафе виднелись с торопливым достоинством завтракающие молодые люди — юноши и девушки. Их силуэты, обращенные лицом друг к другу, были как бы соединены попарно деревянными подносиками с завтраком: круассанчиками, игрушечными баночками сливового джема, кусочком масла, двумя кукольными кувшинчиками кипяченого молока и двумя большими, толстыми чашками кофе.

Ленин любил этот район. Он иногда работал тут в библиотеке Сорбонны и тогда чувствовал себя совсем студентом. Здесь все было насыщено наукой. Повсюду — школы, лицеи, институты, курсы, общежития, лаборатории. В витринах магазинов уже не пестрые, резко красивые полотна постимпрессионистов, а учебные пособия, химическая посуда, пробирки, реторты, колбы, спиртовые горелки. Карты звездного неба и таблицы Менделеева, скелеты, теллурии, где

вокруг зажженной свечи, изображающей Солнце, вращается маленькая планета Земля, а вокруг нее бегает на проволоке совсем маленький серебряный шарик Луны, наполовину черный, наполовину ярко-белый.

Слева решетка Люксембургского сада — черные пики с золочеными остриями, в отдалении, направо, мокрые газоны Клюни; в пролетах поперечных улиц то появлялось, то исчезало одно и то же пепельное видение Пантеона, его светлые колонны, его громадный купол, под которым в холодных каменных криптах лежат Вольтер и Жан-Жак, так что в этом мире молодости и науки как бы вечно присутствует дух революции. Но так ли это на самом деле? Вряд ли эти молодые люди, студенты Сорбонны, пронизаны духом революции, духом свободы, отрицания церкви и государства, основанного на социальном неравенстве. Подлинную революционную молодежь, внуков коммунаров, надо искать в других районах Парижа — в кварталах Сен-Дени, Батиньоля, Бельвиля, Сент-Антуан. Пантеон потерял свое величие. Имена Вольтера и Руссо обесчещены соседством с таким ничтожеством, как Гамбетта, чье сердце в слащаво-розовой урне поставили в нише Пантеона на лестнице, ведущей в крипт. Рядом с гробницей великого Гюго находится целое кладбище чиновников Наполеона I, банальных служак, посредственных исполнителей чужих приказаний. Какая горькая ирония!

Несколько раз Пантеон менял свое назначение. То это был некрополь, то католическая церковь. Теперь в нем дух былой революционной славы смешался с духом религиозного мещанства: стены Пантеона расписаны художником Пювис де Шаваном. Это сцены

из жизни святой Женевьевы, покровительницы Парижа, столь же сентиментальные, сколь дурно написанные: манерно, с претензией на новизну, в духе благонамеренного мещанского декаданса.

Гораздо больше говорила о революции лестница Пантеона и площадь перед ней, всегда зловеще-пустынная, как безмерно громадная каменная зала, откуда вынесли всю мебель и забаррикадировали окна, готовясь к последнему штурму.

Для Ленина — философа, революционера, историка, теоретика и практика вооруженного восстания — Парижская коммуна была одной из самых главных тем. Он читал о Парижской коммуне лекции, писал о ней статьи, всегда связывая ее с русской революцией 1905 года. Для Ленина Париж был городом Коммуны. Ленин в совершенстве знал ее историю и, проезжая по улицам Парижа, живо представлял себе все ее фазы. Пантеон всегда вызывал в его воображении весну 1871 года, те дни, когда Коммуна приняла решение о сооружении баррикад внутри Парижа. Было намечено построить несколько обособленных крепостей, цитаделей, в том числе у Пантеона, мимо которых сейчас, через сорок лет, проезжал на велосипеде Ленин. Началась защита Парижа от версальцев в целом. Однако меры, принятые Коммуной, опоздали. Версальцы уже ворвались в Париж. Шло отчаянное сопротивление.

Гибель Парижской коммуны и разгром Пресни навсегда оставили в сердце Ленина незаживающую рану.

Ленин ехал мимо Пантеона по бульвару Сен-Мишель, представляя себе майский Париж времен Ком-

муны, повсюду перегороженный баррикадами, охваченный дымами горящих зданий, потрясенный взрывами, дробными, раскатистыми залпами митральез. В небе горело жаркое майское солнце, отцветали каштаны, осыпаясь на тротуары сухими бело-розовыми цветами. Опустевшие, безлюдные улицы отливали свинцовым блеском. Из окон на раскаленные тротуары сыпались стекла. И на всем — тень смерти.

Оборона — смерть вооруженного восстания. На левом берегу Сены второй корпус версальцев под командованием генерала де Сиссэ в составе трех дивизий наступал в общем направлении на Люксембург — Пантеон, где коммунары так и не успели построить основательных укреплений.

(Ага, вот почему площадь возле Пантеона до сих пор кажется так беззащитно-пустой, тягостно-безлюдной!)

Теперь уже Ленин как бы находился в самом центре баррикадных боев на подступах к Пантеону. Версальцы рассчитывали атаковать Пантеон, обойдя его с севера. Развивая свой успех, дивизия Лакретеля после упорного боя выбила коммунаров, оборонявших баррикады площади и улицы Сен-Сюльпис, из Медицинской школы и улицы Расина. Но, достигнув бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель, по которому теперь Ленин уже доехал почти до самой Сены, версальцы были остановлены анфиладным огнем артиллерии, расположенной у моста Сен-Мишель. Но, увы, поздно! Поздно, слишком поздно... Батарея коммунаров продержалась только до четырех часов дня и была подавлена, после чего версальцы пересекли бульвар Сен-Мишель и, круто свернув на юг, выбили коммунаров

с баррикад возле лицея Людовика Великого и севернее его.

По всем этим местам, рассекая их, проезжал Ленин, и перед его глазами неподвижно стояла картина Пантеона, как бы добела раскаленного майским послеполуденным зноем, серая лестница, на которой в луже крови раскинулся головой вниз господин в темном пиджаке, с окровавленной, слипшейся бородой,— социалистический публицист Жан Батист Мильер, депутат Национального собрания. Он не принимал непосредственного участия в деятельности Коммуны. Но он не скрывал своего сочувствия к ней. По приказу генерала де Сиссэ его должны были расстрелять на ступенях Пантеона, на коленях, в позе человека, публично умоляющего о прощении у общества за то «зло», которое он причинил ему. Мильер отказался подчиниться. Тогда его силой заставили встать на колени. Последними его словами были: «Да здравствует Республика! Да здравствует народ! Да здравствует человечество!»

А ведь он был просто беспартийный, сочувствующий.

«Коммунарам надо было истреблять всех своих врагов,— думал Ленин, выезжая на набережную Сены.— А парижский пролетариат старался морально повлиять на них, он пренебрег значением чисто военных действий в гражданской войне, и вместо того, чтобы решительным наступлением на Версаль увенчать свою победу в Париже, он медлил и дал время Версальскому правительству собрать темные силы и подготовиться к кровавой майской неделе».

Может быть, потому, что всегда и даже сейчас,

проезжая по Латинскому кварталу, Ленин думал об ошибках Парижской коммуны, он в 1917 году не совершил их сам, не дав Керенскому, бежавшему из Петрограда, окопаться в Царском Селе — русском Версале, — и разгромил контрреволюцию, увенчав тем самым Октябрьскую победу в Петрограде.

Далеко направо, за парапетом Сены, рундуки букинистов. Там и теперь еще можно было найти литографии времен Парижской коммуны с карикатурами на страшного, жабоподобного карлика Тьера или гравюрами Саида: на фоне восходящего солнца Коммуны рабочий с киркой на плече говорит: «Дела хороши!» — а согнувшийся в три погибели богач в цилиндре, но без сапог на паучьих ножках кричит: «Дела плохи!» Возле рундуков, несмотря на ранний час, уже толпились любители антикварных книг, бородатые чудаки в крылатках, вроде Анатоля Франса, а может быть, и он сам. Над парапетом Сены возникло на три четверти скрытое в тумане видение Нотр-Дам — две плоско срезанных готических башни, круглая роза витража и позади рыбья косточка еле видного шпиля. Явление из средневекового мира — легендарный Собор Парижской Богоматери, с фигурами химер на карнизах, так роскошно описанный Виктором Гюго, гениальным поэтом и многословным прозаиком.

Налево Новый мост с конной статуей Генриха Четвертого, которую Коммуна так и не успела снести, а за ним серая, невероятно длинная громада Лувра — дворца, крепости, музея, его непомерно высокие иссиня-серые цинковые крыши, как бы вечно от-

ражающие сирень майской грозы и мокрые резко-зеленые газоны.

Набережные Вольтера, Малаке, Де Конти, Сен-Мишель, Де Монтебелло. Два яруса старых деревьев: один вверху, на высокой набережной, а другой внизу, у самой воды,— могучие, ветвистые, по-осеннему голые, с косо наклонившимися к воде стволами, волшебно отраженными в синеватой, как бы мыльной поверхности Сены с черными буксирными катерами и длинными угольными баржами. И все это — как бы сильно размытый рисунок тушью, кое-где совсем легко тронутый сангвиной и мелом.

В мае 1871 года здесь, вдоль набережных на Сене, стояли канонерки Коммуны — целый лес высоких железных труб, извергавших густые клубы черного дыма и белого пара.

Между ними сновали лодки, подвозя снаряды, и время от времени с палуб канонерок стреляли пушки, посылая шипящие гранаты в сторону Гренель, откуда наступали версальцы.

Ленин пересек остров Ситэ, проехал по мостам мимо средневековых островерхих башен Консьержери с их зловещими шпилями. Это были тени Великой французской революции, которые уже почти не вызывали живого отзвука в душе современного человека, но зато другие тени, более близких революционных событий, ни на минуту не ослабевали и не рассеивались, на каждом шагу вызывая в памяти дни Парижской коммуны.

Короткий Аркольский мост привел Ленина на правый берег Сены. Ленин увидел хорошо знакомую

городскую ратушу (отель де Виль), где 28 марта была провозглашена Коммуна и откуда она руководила восставшим пролетариатом Парижа до того дня 24 мая, когда в 10 часов утра было принято решение немедленно эвакуировать штаб Коммуны и перенести его в мэрию Одиннадцатого округа, за площадь Бастилии, после чего ратуша была подожжена ее комендантом. Впоследствии ее восстановили примерно в том же виде, какой она имела раньше. Ленин видел восстановленную ратушу, и он представлял себе, как горела старая ратуша Коммуны, как валил дым из ее высоких крыш, как из лопавшихся окон вырывались снопы огня, выбрасывая вверх клочья обгоревших бумаг и папок с делами Коммуны, устилая Гревскую площадь черным пеплом, и как в узких улицах грохотали интендантские повозки, нагруженные имуществом Коммуны. Коммуна еще сопротивлялась, но уже не надеялась на победу. Коммуна догорала. Ленин вспомнил слова Энгельса: «Бесспорно, во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным, но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча? В революции всякий, кто, занимая решающую позицию, сдает ее, вместо того, чтобы заставить врага отважиться на приступ, всегда заслуживает того, чтобы к нему относились как к изменнику».

Коммунары геройски боролись до последнего момента, а не сдались без боя. Это явилось вдохновляющим примером того, как надо сражаться за освобождение трудящихся даже в крайне трудных и рискованных условиях.

Ленин именно так и понимал уроки Коммуны, когда писал: «Маркс умел ценить и то, что бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба масс даже за безнадежное дело необходима во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к следующей борьбе».

Продолжая думать о последних днях Парижской коммуны, Ленин повернул налево и проехал по правому берегу Сены до площади Шатле с высокой готической башней Святого Якова, как бы третьей башней Нотр-Дам, отколовшейся от Собора и перенесенной какой-то волшебной силой с острова Ситэ сюда, на перекресток Севастопольского бульвара и улицы Риволи, в сквер Святого Якова,— одинокой и непонятной, как выходец из другого мира.

Здесь в дни Коммуны тоже были выстроены баррикады, но не из случайных материалов — ящиков, бочек, магазинных прилавков, матрацев, опрокинутых дилижансов,— а солидно, прочно выстроенные из парижского камня или кирпича лучшими каменщиками Бельвиля и Батиньоля. Это были и впрямь маленькие уличные крепости, форты с очень толстыми стенами и узкими бойницами, откуда можно было спокойно вести прицельный огонь из ружей и артиллерийских орудий. Теперь от этих укреплений не осталось и следа. Только чугунно-синие камни мостовых, мокрые от тумана — быть может и даже наверное, те самые камни брусчатки, из которых тогда строились баррикады,— напоминали о сражении на площади в пространстве между двумя парижскими театрами: театром Шатле, где во время кровавой недели судили коммунаров, и театром Сары Бернар.

В Шатле гастролировал прославленный русский балет Дягилева, а у Сары Бернар каждый день играли нашумевшую пьесу Эдмона Ростана «Шантеклер». На крыше театра забыли погасить электрическую рекламу, и слово «Шантеклер» светилось в туманном парижском небе бело-ртутным, бледным сиянием. Шантеклером называлось главное действующее лицо пьесы Ростана — петух, возомнивший себя не только глашатаем нового дня, но повелителем солнца, которое каждый день появлялось, как только он пропоет. Однажды самонадеянный петух нарочно не пропел свое «ку-ка-реку», желая показать собственную власть над солнцем. Но солнце все-таки появилось точно в назначенное время вопреки Шантеклеру. Знаменитый петух был посрамлен. Действие пьесы Эдмона Ростана происходило на птичьем дворе, и действующими лицами были куры, гуси, утки и прочая домашняя птица.

Налево — Умирающий Лебедь, Сильфиды; направо — самовлюбленный петух Шантеклер и обольстительные курочки, а между ними — мокрая брусчатка площади, где сравнительно не так давно лилась кровь коммунаров и визжала картечь митральез.

В Париже русский сезон. Блистательные премьеры. Цветы. Брильянты. Рауты. Банкеты. Платят сотни франков за кресло на дягилевский спектакль. Анна Павлова, Шаляпин, Карсавина, Фокин. Афиша работы великого русского художника Валентина Серова: воздушная стрекоза Сильфида — Анна Павлова на пуантах, вся движение, вся грация, вся музыка. Тамара Карсавина, красавица жар-птица в огненном платье, в русских самоцветах и павлиньих перьях. По

всему Парижу крупные надписи: Théâtre du Chatelet. Grande saison de Paris. Ballet russe. Бармы и шапка Мономаха, из-под которой смотрят грозные глаза Федора Шаляпина. Ленин проезжает мимо театра Шатле, слегка косясь на старые дягилевские афиши, фотографии, электрические рекламы... «А там, во глубине России... там вековая тишина». Тишина ли? Шутить изволите! Там, во глубине России, уже орудует не старый упырь Победоносцев, а некто более страшный и современный — шталмейстер Столыпин с его отрубами и крестьянскими банками, при помощи которых из российских кулаков и мироедов с божьей помощью будут печь российских фермеров, новых помещиков, лендлордов — опору трона, душителей революции, палачей пролетариата. Вот где настоящий что ни на есть подлинный русский сезон, grande saison russe, черт бы его побрал! А тем временем «революционный» Париж, центр мира, прекрасная Франция — свобода, равенство, братство — быстро залечивает раны, нанесенные ей последней войной с Пруссией. Франция готовится к реваншу, что не мешает парижанам каждый вечер наполнять театр Сары Бернар и хлопать чисто галльскому остроумию Эдмона Ростана, его хлестким стихам, бульварному шику рифмованных афоризмов, а главное костюмам актрис, исполняющих роли курочек. Сначала Париж, а потом и весь мир охватил род массового безумия: новая мода «Шантеклер». Шляпки Шантеклер — крошечные, как куриная головка с пикантным гребешком, вроде шлемов, сделанных из золотистых фазаньих крылышек. Блузки Шантеклер. Юбки Шантеклер — широкие в бедрах и очень узенькие в подоле, что делает

походку женщин мелкой, обольстительно семенящей, вроде походки китаянки на миниатюрных изуродованных ножках-копытцах: женщина-пленница, которая не может убежать от мужчины-собственника, а если и побежит, то это будет похоже на бег в мешках.

Характер города снова изменился. Теперь вокруг Ленина уже не рабочие Монсури и не студенты Латинского квартала, а клерки, приказчики, мелкие чиновники, девушки-продавщицы, бегущие семенящей походкой, в своих шляпках и юбках Шантеклер вниз по Риволи в знаменитые «большие магазины» — «Лувр» или «Самаритен». Показались и загулявшие кутилы с лимонными лицами — монокль, цилиндр, черная бальная пелеринка на белой шелковой подкладке, полосатое кашне, заброшенное через плечо за спину. Пробегали мидинетки с полосатыми картонками в руках. Проезжали высокие каретки автомобилей, фыркая и наполняя улицу синими облаками бензинового дыма.

Направо и налево уходила в перспективу большая торговая улица Риволи с ее мануфактурными и ювелирными магазинами, за решетками которых блестели золотые, брильянтовые и серебряные вещи, целые гирлянды низкопробных ручных часов, мещанские чайные сервизы. Аркады и лоджии, где вечно горят язычки газовых фонарей и дымятся жаровни, возле которых старухи в теплых платках, завязанных на спине, крючконосые, как ведьмы, в громадных тазах, охваченных паром, пекут обуглившиеся каштаны, с жарким шорохом шуруют их железными совками, а

каштаны иногда вдруг вспыхивают синими огоньками и лопаются, наполняя воздух сытным ароматом печеной мякоти.

Здесь все еще продолжали бежать почтальоны, на всю улицу насвистывая модные шансонетки. Среди этих шансонеток музыкальное ухо Ленина уловило знакомый мотив одной из песенок довольно популярного парижского шансонетчика Монтегюса, которого Владимир Ильич недавно слушал, кажется, в «Бобино». Песенка называлась «Привет семнадцатому полку». Утренние почтальоны насвистывали:

Привет, привет тебе,
Привет, семнадцатый стрелковый!
Ты нам помог в борьбе,
В борьбе открытой и суровой [1].

Песенка эта очень понравилась Ленину, и он стал ее громко, как бы соревнуясь с почтальонами, насвистывать — по своей манере — сквозь зубы.

Привет, восставший класс!
Теперь мы не пойдем вразброд...
Ах, друзья, убивая нас,
Убили б вы свою свободу!

Все-таки у трудящихся никогда не умирает дух свободы. Молодцы, почтальоны!

Для того чтобы кратчайшим путем попасть в Национальную библиотеку, следовало наискось пере-

[1] Стихи Монтегюса, здесь и в дальнейшем, в переводе А. Гатова.

сечь Центральный рынок. Надо было проехать мимо всех его павильонов, а затем по узким, невероятно запутанным переулкам выбраться на площадь Победы, откуда до библиотеки было уже рукой подать.

Под шинами велосипеда хрустели капустные листья, свекольная и морковная ботва, усыпавшая грязную сырую мостовую узкой улицы, ведущей к рынку. Улица была черна, холодна и странно пустынна, хотя по всей ее длине у подъездов маленьких безымянных отельчиков виднелись неподвижные фигуры женщин. Это были утренние проститутки, промышлявшие в переулках вокруг Центрального рынка. Их клиенты — мясники, шоферы грузовиков, ломовики, грузчики, фермеры — громадные, с винно-красными лицами силачи в брезентовых фартуках, запачканных кровью животных, в синих комбинезонах, в фуфайках с короткими рукавами, обнажавшими страшные, волосатые, мускулистые руки с голубой татуировкой, усатые, с трубками и кожаными кошельками через плечо, — были заняты всю ночь тяжелой физической работой, а теперь, когда оптовая торговля кончилась и рынок опустел, они разбрелись по кофейным и бистро, чтобы съесть закопченный горшочек огненного лукового супа с натертым сыром, который тянулся за ложкой, как резиновые нитки, и пропустить стаканчик кальвадоса, а потом сбегать к женщине и провести несколько минут в тесном, как каюта, номере отельчика, достойно завершив свою трудовую ночь быстрым соединением с толстой или очень худой, злой, неряшливой пожилой женщиной в кружевных панталонах и ажурных чулках с атласными подвязками.

Когда Ленин проезжал мимо, продолжая насвистывать «Привет семнадцатому полку», женщины провожали его равнодушными взглядами, изредка переставляя ноги, как застоявшиеся старые лошади, в промокших старомодных шляпках со страусовыми перьями, в жиденьких боа или горжетках, с высокими бюстами, в широких юбках конца девятнадцатого века, со шлейфами, которые они держали в руках,— мертвенные маски скуластых прачек Тулуз-Лотрека, вымазанных свинцовыми белилами, с красными ртами и ржавыми челками, делающими их лбы еще более низменными и старообразными и вместе с тем все еще способными вызывать вожделение. Одна из них стояла в узких дверях под вывеской «Отель» и, повернувшись боком к улице, прятала в чулок деньги, в то время как ее клиент быстро удалялся, засунув руки в передние косые карманы зимней верблюжьей куртки, оставляя за собой, как пароход, едкую струю капораля,— и вся эта сцена напоминала группу восковых фигур в музее Гревен.

Кто они, эти в общем-то еще молодые женщины, с наружностью молодящихся старух, с золотыми крестиками, висящими на их выбеленных шеях над выпирающими из декольте округлостями? Уж, во всяком случае, не аристократки и не буржуазки. Скорей всего это несчастные дочери рабочих окраин, публичные женщины, порожденные эксплуататорским строем, продающие свое тело для того, чтобы не подохнуть с голоду. Рыночный товар, лишенный не только элементарных человеческих прав распоряжаться своим телом, но и как бы лишенный понятия о нравственности, о чести, даже о религии, если не счи-

тать золотых католических крестиков — скорее амулетов, чем символов христианства. Может быть, это дочери коммунаров, расстрелянных версальцами где-нибудь во дворе казармы Лобо, без всяких формальностей, прямо в упор из митральезы. А может быть, их приговорили в театре Шатле? Если бы Коммуна победила, этих женщин здесь бы не было.

Но Коммуна была раздавлена. Кровь коммунаров так и осталась неотомщенной. Пока не отомщенной. Ведь историю нельзя повернуть вспять. И грядущая мировая социалистическая революция неизбежна. А для того, чтобы она поскорее наступила, надо изучать уроки прошлых революций, и в первую очередь уроки и ошибки Парижской коммуны. На этих ошибках будем учиться.

Может быть, именно в этот день в голове Ленина рождались слова, которые потом появились в статье «Памяти Коммуны»:

«Как передовой боец за социальную революцию, Коммуна снискала симпатии всюду, где страдает и борется пролетариат. Картина ее жизни и смерти, вид рабочего правительства, захватившего и державшего в своих руках в течение свыше двух месяцев столицу мира, зрелище геройской борьбы пролетариата и его страдания после поражения,— все это подняло дух миллионов рабочих, возбудило их надежды и привлекло их симпатии на сторону социализма».

Была попытка создать государство нового типа, и если оно не было тогда создано, то лишь потому, что у французского пролетариата не было тогда самостоятельной рабочей партии.

И вот страшный разгром первой в мире Коммуны.

Отцы расстреляны у стены Пер-Лашез, у парапета Люксембургского сада, в казарме Лобо, а дочери — на мокрой мостовой узкой, сумрачной улицы Монторгейль. Ленин тогда увлекался поэзией Виктора Гюго. Быть может, проезжая по этой страшной улице, он повторял стихи великого французского поэта:

Там ниже всех клоак, под улицами всеми,
Не видя света днем, людские дрогнут семьи,
    Там и оконца нет.
И, только я вошел, вдруг все затрепетало
И девушка с лицом старухи прошептала:
    — Мне восемнадцать лет.

...Им — золото твое. Тебе — нужда и голод.
Ты, как бездомный пес, что вечно терпит холод
    У запертых дверей.
Им — пурпур и шелка. Тебе — опять объедок.
Им — ласка женская. Народу напоследок
    Бесчестье дочерей!..

Гнусный мир. Его нужно уничтожить, и чем скорее, тем лучше. Мы его разроем до основания.

Ленин пересек по диагонали Центральный рынок. Он уже проехал, учитывая все повороты и объезды, километров пять — расстояние для велосипедиста небольшое, но в условиях езды по городу, среди встречного, попутного и поперечного движения, среди толпы пешеходов, поминутных остановок на перекрестках — работа утомительная. Ленин устал, разогрелся, вспотел, несмотря на холодную погоду. Он снял котелок и вытер платком голову, шею, подбородок. Его

светлая золотистая голова как бы светилась в утренних сумерках рынка. Он надел котелок и с новой энергией нажал на педали: надо было торопиться.

Вокруг простирался мир Эмиля Золя. «Центральный рынок, — сказал где-то Золя, — является робким проблеском двадцатого века». Теперь двадцатый век уже наступил. Железные павильоны, железные рифленые крыши, подземная железная дорога, грузовые автомобили на сплошных, литых резиновых шинах. Штабеля опустошенной за ночь тары: ящики из-под сыров и фруктов, винные бочонки, мешки, корзины. Целый город тары, где надо пробиться в узких переулках между ящичными и корзиночными домами. Под ногами опилки, солома, куча мятой папиросной бумаги. Циклопические колеса деревенских двуколок. Першероны в островерхих хомутах. Тысячи рыночных запахов, от которых кружилась голова.

Впрочем, все это давным-давно описано, и лучше всего не полениться и перечесть «Чрево Парижа», а потом представить себе маленького велосипедиста двадцатого века на его легком велосипеде со свободной передачей пересекающим рынок Золя. Ленин проехал по диагонали сквозь этот ни на что не похожий мир оптовой торговли продуктами питания, попавшими в цепкие руки капиталистов-перепродавцов, которые отсюда могли диктовать цены на предметы первой необходимости миллионам трудящихся, попавших в их железные сети, как муха попадает в сети паука. А ведь и в самом деле Париж напоминал железную сеть паука-крестовика, засевшего в самой его середине, как раз где на плане города обозначен Центральный рынок — Halle centrale.

Туман поднялся. Над зданием центральной телефонной станции засветилось голубовато-серое небо, обещая немного туманный, но солнечный день поздней парижской осени. На круглой провинциально чистенькой площади Победы Ленин, чтобы несколько отдохнуть от напряженной езды по скользким мостовым Центрального рынка, слез с велосипеда и пошел пешком, одной рукой ведя свою машину за седло. В круглой крышечке велосипедного звонка блеснуло серебряной звездой выглянувшее над Парижем солнце — слабое, грустное.

Ленин прошел мимо конного памятника Людовику Четырнадцатому — лошадь подняла передние ноги, поджала задние и всей своей тяжестью оперлась на могучий хвост, что делало монумент похожим на памятник Петру в Петербурге, с той лишь разницей, что конная статуя французского короля стояла на обыкновенном, традиционном прямоугольном цоколе, в то время как его царственный брат — русский император вместе со своим романтическим конем был утвержден на неотесанной финляндской скале естественной формы, что делало весь монумент неповторимым, единственным в мире. Коммуна постановила памятник Людовику Четырнадцатому снять, но не успела осуществить свое решение, и король-солнце продолжал величественно восседать на лошади в своем высоком, раздвоенном наверху крупно-курчавом парике с локонами до плеч, совершенно таком, как и у его придворного драматурга великого Мольера, за два квартала отсюда на задах Французской комедии.

Теперь до Национальной библиотеки было уже совсем недалеко: разогнав велосипед, Ленин вскочил

на него на ходу и энергично заработал ногами, желая наверстать упущенное время, и пока он не достиг улицы Ришелье, его осыпали громкие трели канареек, которыми на весь город славились консьержки этого района. Здесь уже попадались почтенные пожилые господа в хороших черных пальто, с красными розетками Почетного легиона в петлицах, а также бонны, одетые в траурные мантии, как вдовствующие императрицы, которые толкали перед собой наимоднейшие детские коляски на высоких рессорах. Иногда здесь проходил, звеня шпорами, воспитанник военной школы Сен-Сир в парадном кивере с трехцветным султаном. А на тесной и вечно темной улице Ришелье тянулись ряды элегантных букинистических магазинчиков с витринами, отсвечивающими тусклым золотом, марокеном и шагренью целых маленьких, изящных, старинных библиотек, коллекциями драгоценных марок, старинных ассигнаций и бесценных раскрашенных от руки гравюр на дереве с изображениями первого головастого паровоза, первого воздушного шара — Монгольфьера — или же сцены свержения коммунарами Вандомской колонны.

А вот и Национальная библиотека: непроницаемо-пыльные окна пристроенных к главному зданию — особняку Тюбефа — двух галерей, выходящих прямо на улицу,— галереи Мансара и галереи Мазарини. Внутренний двор, просторный и скучный, словно казарменный плац. Ленин оставил свой велосипед в парадном одного из соседних домов на попечение консьержки, вошел во двор библиотеки и, предъявив при входе постоянный билет на право посещения со своей фотографической карточкой, как тогда говорили,

«моментальной», снятой в электрофотографии на бульваре, быстро и упруго взбежал по старинной лестнице, где было много пространства и много воздуха, и толкнул плечом тяжелую, массивную дверь.

Однажды мы зашли в Национальную библиотеку. Нас сопровождал пожилой русский из славянского отдела. Едва мы заглянули в громадный двусветный зал центрального здания с расписанным куполом, с особенной кафедральной тишиной, свойственной лишь соборам и большим библиотекам, с длинными скамьями и столами для работы, с высокой конторкой, откуда посетителям выдавали заказанные книги, как я сразу представил себе Ленина, быстрыми профессорскими шажками, слегка боком, направляющегося по проходу прямо к столу с каталогами. Я снова почувствовал себя перенесшимся в Париж того времени. Париж меняется очень медленно, центр его почти совсем не изменился в течение столетий. А Национальная библиотека подавно. Вот так же точно, как сейчас, и при Ленине бесшумно двигались фигуры библиотечных служащих, точно так же, прилежно согнувшись и скрипя перьями за длинными столами, закапанными чернилами, сидели посетители — библиотечные завсегдатаи, одни и те же во всех странах мира,— усидчивые молодые люди, бородатые старики, дамы в пенсне, которые одной рукой перелистывают книгу, а другой быстро пишут, стараясь не пропустить ни одной минуты драгоценного времени. Получив заказанные вчера книги — по философии, экономике, сельскому хозяйству, а также еще несколько

справочников и словарей,— Ленин пробрался на свое обычное место, вынул из кармана блокнот в арифметическую клетку и авторучку и, положив голову на выдвинутое плечо, стал быстро писать своим беглым, бисерным почерком высокоинтеллигентного человека — почерком, чем-то напоминавшим летучий, прелестный, стремительный почерк Пушкина.

Осматривая главный зал Национальной библиотеки, я обратил внимание на колпаки электрических настольных ламп — целое поле, покрытое круглыми голубыми колпаками. Я живо представил себе, как быстро проходит короткий декабрьский день, в зале темнеет уже в три часа, Ленину становится трудно писать, и вдруг, как по команде, вспыхивают голубые лампы. Теплый свет из-под колпака ложится на быстро пишущую ленинскую руку, на его скуластую щеку, на кромку светло-рыжих волос, лежащих на воротнике пиджака.

— Вы глубоко заблуждаетесь,— сказал сопровождающий нас старичок из славянского отдела.— В ленинские времена здесь во избежание пожара было категорически запрещено всякое освещение, в том числе даже искусственное: считалось, что при электрическом освещении может произойти короткое замыкание, которое вызовет пожар величайшего книгохранилища Франции. Электрическое освещение разрешили сравнительно недавно. Так что ваш Ленин никак не мог здесь работать после наступления сумерек.

Осенью в три часа библиотека закрывалась. Поэтому Ленин старался попасть в библиотеку как можно раньше, чтобы не потерять ни одной минуты дра-

гоценного времени. Кстати, должен заметить, что Ленин по преимуществу занимался не в этом главном читальном зале, а в кабинете периодических изданий, где к его услугам была почти вся мировая пресса, в том числе и русская, которую Ленин чрезвычайно быстро пробегал глазами, изредка делая короткие выписки.

Путеводители подчеркивают, что в парижской Национальной библиотеке большой интерес представляют коллекции медалей и античных монет в количестве около 400 тысяч, а также собрание камей, инталий и других произведений искусства; наверное, это действительно представляет большой интерес, но мы предпочли увидеть кабинет периодической печати. Это не очень большая зала с потемневшими деревянными панелями, плоскими шкафами, рабочими столиками и высоким бюро, откуда заведующий кабинетом мог озирать все свое хозяйство, записывая в громадную книгу названия газет и журналов, затребованных посетителями. Увы, посетителей было совсем мало: один, два — и обчелся.

Мое внимание обратил на себя высокомерный старик в золотом пенсне старого фасона, углубившийся в потрепанный комплект суворинской газеты «Новое время». Что он искал в ней? Быть может, забвения? Не знаю. Но, услыхав русскую речь, он повернул в нашу сторону строгое лицо с римским носом, некоторое время изучал нас, видимо желая определить, к какому сорту русских мы относимся, и вдруг, услышав имя Ленина, понял, что мы за птицы, слегка покраснел, величественно отвернулся и вновь погрузился в «Новое время», как в Лету.

Быть может, некогда на этом самом месте сидел Ленин, перелистывал тот же самый комплект «Нового времени» за 1907 год и, сузив недобрые глаза, делал выписки из статьи Меньшикова, вызывавшей в нем чувство физической тошноты.

...Я не сомневаюсь, что настанет день, когда на деревянной панели возле того места, где обычно сидел Ленин, появится мраморная доска: «Здесь работал вождь мировой революции, великий Ленин».

Мы вышли из библиотеки. Вокруг нас был Париж первого десятилетия второй половины двадцатого века. Мы шли по улице Ришелье, которая, вероятно, не изменилась не только со времени Ленина, но и со времени Парижской коммуны и даже, может быть, Великой французской революции. Был прохладный парижский май. В квадратном скверике прямо против ворот Национальной библиотеки под дождем дрожали цветущие каштаны. Но вот дождь прошел, облака со сказочной быстротой разошлись, растаяли, превратились в ничто, откуда-то потянуло оранжерейным теплом, над черепичными трубами многочисленных каминов блеснуло солнышко, и темная щель улицы Ришелье вдруг оказалась во всю свою длину разделенной резким световым барьером: одна сторона улицы теневая, дымно-чернильная, другая — солнечная, до боли в глазах яркая, такая яркая, как будто там все время горела лента магния. По сторонам скверика, сверкавшего цветами и зеленью газонов, белели и чернели узкие фасады высоких домов, и бонна в мантии выкатила из парадного нарядную коляску с ре-

бенком, который шевелился в кружевной пене своих нейлоновых пеленок, а следом за бонной вышла из дверей старая консьержка, села на раскладной стул, надела пенсне и стала быстро вязать серый шерстяной набрюшник, причем спицы в ее подагрических пальцах мигали, как маленькие молнии; очень возможно, что именно в этом парадном и оставлял Ленин свой велосипед до тех пор, пока его не украли. Не думаю, чтобы это была та самая консьержка, которая получала с Ленина за хранение велосипеда по десять сантимов, а потом, когда велосипед пропал, заявила, что она не бралась стеречь машину, а только разрешала ее оставлять на лестнице. Во всяком случае, эта консьержка была точной копией той, так как известно, что все пожилые парижские консьержки со времен Фуше похожи друг на друга, как родные сестры. Увы, с такой дамой не поспоришь, особенно если ты подозрительный иностранец, русский профессор «из красных», социалист, постоянный посетитель Национальной библиотеки. Представляю себе, как после короткого обмена любезностями с консьержкой, проворонившей его велосипед, Ленин принужден был возвращаться через весь город домой пешком, на чем свет стоит проклиная и парижских консьержек и свою российскую доверчивость. Но проклинай не проклинай, а придется покупать другой велосипед. Страшный прорыв в бюджете! Что скажет Надя...

Кроме занятий в библиотеке, заседаний, лекций, публичных диспутов, чтения по ночам во время бессонницы и постоянного ежедневного писания статей,

Ленин, конечно, иногда и позволял себе немного развлечься.

«Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем — и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п.,— пишет в своих воспоминаниях Крупская. — Особенно нравился Ильичу Монтегюс. Сын коммунара, Монтегюс был любимец рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях, всегда с ярко-бытовой окраской, не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения».

Меня заинтересовала личность Монтегюса. Помимо того, что его имя упоминается во многих воспоминаниях о Ленине — что само по себе уже достаточная причина заняться Монтегюсом,— мне кажется, что он заслуживает внимания как чисто парижское явление.

Крупская пишет, что «в эти самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда говорил с какой-то досадой (уже вернувшись в Россию, он как-то еще раз повторил, что не раз говорил раньше: «И зачем мы только тогда уехали из Женевы в Париж?»), в эти тяжелые годы он упорнее всего мечтал, мечтал, разговаривая с Монтегюсом, победно распевая эльзасскую песню, в бессонные ночи зачитываясь Верхарном».

Вспоминая об отношениях Ленина с Монтегюсом, Людвинская пишет:

«Наша организация весьма нуждалась в деньгах

для печатания литературы. Деньги добывались устройством лекций, рефератов, лотерей, концертных вечеров и т. д. Один такой вечер было поручено организовать мне. Я решила пойти посоветоваться к Надежде Константиновне. Мы принялись вместе разрабатывать программу вечера. В разгар нашей беседы в комнату вошел Владимир Ильич. Он послушал нас, улыбнулся нашему спору насчет буфета (вопрос был денежного характера) и сказал:

— План должен быть не только коммерческим, но и идейным. В программу должен быть внесен агитационный элемент. Пригласите Монтегюса. Он вам и публику соберет и агитацию проведет».

Ленин всегда, при всех обстоятельствах, даже в таком, в сущности, мелком вопросе, как устройство эмигрантского концерта, был верен себе: на первом плане — политика.

Вскоре вечер состоялся. Во время концерта, когда выступал Монтегюс, Ленин время от времени тихонько подпевал ему из зала. Монтегюс пел о восставшем полке:

...Ты восстал, и сердце всколыхнули
Гнев и страсть, картечи горячей.
Не вести ж отца и мать под пули,
Только чтобы тешить богачей.

И Ленин вслед за Монтегюсом подхватывал своим глуховатым тенором рефрен:

Солдат! Надежны наши узы,
Ты сознаешь, что я твой брат.
Ты решил не убивать французов,
И это правильно, солдат!

Ленину нравились эти слова.

«Настоящее имя Монтегюса Гастон Брунсвик,— пишет А. Гатов.— Монтегюс — это псевдоним. Он был сыном сапожника. Его отец и дед — участники Парижской коммуны. Монтегюс начал выступать на парижских эстрадах в бурную эпоху дела Дрейфуса. Конечно, он был на стороне дрейфусаров. Недавно он сам побывал в солдатах и на собственном опыте узнал, что такое французская военщина. Он ее возненавидел всей душой и в своих песенках выступал против милитаризма. Доставалось от молодого шансонетчика также и всякого рода поборникам церкви. Армия и церковь были двумя сторонами одной и той же медали. Направление искусства Монтегюса полностью отражало настроение демократических кругов тогдашней Франции, как, впрочем, и теперешней.

Молодой шансонье быстро приобрел популярность. Он выступал с дерзкими куплетами, в которых однажды довольно сильно задел честь офицеров «Великой французской армии». В зале разразился неслыханный скандал. Одни свистели, другие аплодировали. Скандал перебросился в прессу. Две распространенные реакционные газеты — «Либр пароль» и «Энтрансижан» — во главе со знаменитым памфлетистом ренегатом Анри Рошфором так шумно напали на Монтегюса, что в один день сделали его знаменитым. Это была поистине грандиозная реклама. Монтегюс приобрел громадную аудиторию. Он стал желанным гостем на всех социал-демократических митингах — настоящим героем дня. Он отправился в турне по Франции, и во всех городах, где бы он ни выступал, немедленно появлялось на стенах домов объявление

военного коменданта, где под угрозой серьезного наказания военнослужащим запрещалось присутствовать на выступлениях Монтегюса, так как «тенденции этого шансонье вызывают бунты и волнения в армии». Может быть, солдаты и побаивались ослушаться коменданта, но зато рабочие, особенно в субботу вечером, до отказа наполняли залы, где выступал Монтегюс, и затем разносили по улицам боевые песенки, направленные против генералов, домовладельцев, фабрикантов, попов и прочих врагов и притеснителей рабочего класса».

Разумеется, Ленин не мог пройти мимо такого явления, как Монтегюс, и они познакомились. Правда, в это время слава Монтегюса уже немного потускнела. Париж не любит слишком громкой славы, но легко мирится со славой средней и часто делает ее пожизненной.

Я не знаю в точности, как произошло знакомство Ленина и Монтегюса. Но нетрудно себе представить, что однажды вечером Ленин отправился в какой-нибудь эстрадный театрик на краю Парижа.

Сестра Ленина, Мария Ильинична, свидетельствует, что за границей Владимир Ильич редко бывал в опере и концертах. Музыка слишком сильно действовала на его нервы, и когда они бывали не в порядке — а это бывало так часто при трепке и сутолоке эмигрантской жизни,— он плохо выносил ее... Мало сравнительно внимания уделял Владимир Ильич и различным достопримечательностям. «Я вообще к ним довольно равнодушен,— пишет он в письме из Берлина в 1895 году,— и большей частью попадаю случайно. Да мне вообще шлянье по разным народ-

ным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т. п.».

Впоследствии, попав в Париж, он сохранил свою любовь «к шлянью по разным народным вечерам», обилием которых всегда славился Париж. Ленин посещал народные кабаре и театрики Монмартра, Порт-Сен-Мартена, в особенности, я думаю, Монпарнаса, недалеко от которого он жил, например, «Théâtre de la Gaieté» или «Бобино». Марсель Кашен говорил мне, что Ленин бывал в «Бобино».

Мне никогда не приходилось раньше посещать этот театр, но совсем недавно, когда наши парижские друзья предложили сводить нас в какой-нибудь театр по нашему выбору, я тотчас же указал на «Бобино». Наши друзья крайне удивились.

— «Бобино»? А что это за театр и где он находится? Мы о нем ничего не слышали.

Это были люди утонченные, высокоинтеллектуальные, и мы, по-видимому, очень потеряли в их глазах, выбрав какое-то «Бобино», о котором они не имели никакого понятия, хотя были истыми парижанами и жили на левой стороне « Rive gauche», то есть не так уж далеко от «Бобино».

— Но зачем вам понадобилось именно «Бобино»? — спрашивали они.

Я сказал, что мы хотим увидеть какой-нибудь демократический театрик на окраине. Они пожали плечами. Им это было непонятно.

— В этом театре бывал Ленин,— сказал я.

Они покорно развели руками и произнесли сакраментальную фразу французского гостеприимства:

— Comme vous voulez. Как вы хотите. Если это вам нравится.

Им был настолько чужд этот глухой район между Монпарнасским вокзалом и стеной Монпарнасского кладбища, что мы долго кружили на маленькой, экономичной машине «ситроен» по темным переулкам и пустырям, прежде чем попали на Rue de la Gaieté.

— Вообразите себе,— сказал один из наших друзей, изысканный католический поэт.— Если бы не вы, мы бы, вероятно, никогда в жизни не увидели ни этой улицы, ни театра «Бобино». Это курьез, не правда ли? — ласково спросил он, доверчиво заглядывая в мои глаза.

Это было не столько курьезно, сколько поучительно, так как наглядно показывало прочность социальных перегородок французского общества. Наши друзья с нескрываемым любопытством разглядывали одну из довольно известных парижских улиц, куда попали первый раз в жизни. Эта улица принадлежала другому миру. Они ее случайно открыли, как иногда случайно открывают новую звезду. Оставив свой «ситроенчик» у обочины, они шли по этой улице, как иностранцы, удивляясь ее барам, кафе, подозрительным отельчикам, довольно плохому освещению, одежде прохожих, узким грязно-белым и потерточерным домам, наконец, большой ветряной мельнице над одной из крыш. До сих пор они были уверены, что ветряные мельницы сохранились в Париже только на Монмартре и на Пигаль. Оказалось, что есть еще одна

мельница, на Rue de la Gaieté. Это их очень веселило, и они благодарили нас за то, что мы открыли эту доселе неизвестную им часть Парижа — почти страну,— такую провинциальную и глухую.

«Бобино» оказался весьма обычным районным парижским театриком, с традиционным красным бархатом занавеса и кресел, белыми стенами, старой, докрасна потертой позолотой и лепными украшениями. Обивка кресел была пропитана застоявшимся пыльным запахом табака и духов — дешевого табака общеупотребительных сигарет «Галуа» и таких же общеупотребительных духов «Коти», так что уже одни эти запахи сразу давали почувствовать всю разницу между этим пролетарским театриком и подобным же заведением где-нибудь в районе Елисейских полей или Больших бульваров, где в воздухе стоит смешанный запах гаванских сигар и духов «Герлен». Ну, конечно, и цена билетов тоже! Если в «Бобино» кресла в оркестре стоили семь франков, то там — верных двадцать.

Зал «Бобино» был наполнен публикой самой демократической, по преимуществу девушками в очень модных, но дешевых туалетах, купленных в отделе готового платья «Самаритен» или «Галереи Лафайета», и в преувеличенно высоких прическах, придававших молоденьким личикам с умело подрисованными глазами нечто детски порочное. Мужчины снимали пальто уже в зрительном зале и засовывали его под кресло.

Выступал новый парижский шансонье Марсель Амон, делавший свои первые шаги по пути славы пока еще на левом берегу, но уже восходящая звезда.

Он быстрой, энергичной походкой молодого человека почти выбежал на сцену в низкопробно-элегантном костюме из синего шелкового тропикаль, при свете прожектора переливавшегося муаром, в синем галстуке, голубой сорочке и черных сверкающих остроносых мокасинах,— этот средних лет, потертый, но все же довольно красивый плечистый мужчина, с великолепно сделанными белоснежными зубами и фарфоровой улыбкой семнадцатилетнего спортсмена,— условный тип мужчины-любовника, наиболее любимый парижанками попроще. Под уверенные, банальные звуки джаза, поместившегося тут же, на сцене, Марсель Амон начал свои песенки, одна за другой без передышки, делая иногда — в виде приятного сюрприза — какое-нибудь легкое сальто-мортале, колесо или игривую пробежку по сцене вверх ногами, но так, что при этом его пиджак оставался в идеальном порядке. У него был приличный стандартный голос, хороший слух, видимо, он был очень музыкален, и какая-то девушка в маленькой вавилонской башне своей иссиня-черной прически со вздохом восхищения воскликнула, что бедный Марсель Амон окончил консерваторию, но — увы! — и так далее...

Его песенки были милы, сентиментальны, остроумны, но в них не было настоящего, политического перца, а так себе — невинная фронда. Это был типичный шансонье деголлевской Франции, мастер своего дела, любимец женщин, но отнюдь не трибун, не борец за правду,— один из множества парижских шансонье такого же типа, из которых советским зрителям известен один лишь Ив Монтан. Думаю, что и Монтегюс был чем-то в этом же роде, но только, разумеет-

ся, политически более острый, смелый, и сценическая маска у него была другая — в духе того времени.

Таким образом, я получил представление о театре «Бобино», где бывал Ленин. Представление чисто внешнее. Но мне было трудно вызвать в своем воображении образ Монтегюса. Во времена Ленина в Париже на Больших бульварах и в трущобах еще водились так называемые апаши — уличные хулиганы, отчасти «стиляги» того времени —деклассированные молодые люди полууголовного типа. Фигура апаша, стоящего под фонарем, была непременной принадлежностью ночного Парижа. Она сделалась как бы символом анархического протеста против морали, семьи и собственности,— неприятный нарыв на теле буржуазной богатой Франции.

Может быть, это именно Шарль Раппопорт — прирожденный монпарнасец — решил в один прекрасный вечер повести Ленина «на Монтегюса». Интересно, понравится ли русскому лидеру их Монтегюс? Публика вокруг настоящая, пролетарская. Дешевенькие шляпки работниц, кепки рабочих — наверное, железнодорожников из депо Монпарнасского вокзала,— гул голосов, непринужденные шутки, возгласы. Утомительно-яркий свет ртутных электрических трубок. Жарко. Запах капораля и духов «Коти». Ленин снимает пальто и по примеру прочих засовывает его под кресло, котелок ставит на пол. Вытирает платком лысину, в которой отражаются электрические лампочки зрительного зала.

— Посмотрим, посмотрим. Послушаем...

Ленин энергично потирает руки, весело, узкоглазо щурится. Среди простой пролетарской публики предместий он чувствует себя прекрасно: рабочий народ — его стихия.

Почти все знавшие Ленина отмечают оригинальный характер его лица. Но внешность Ленина была очень изменчива, трудно уловима, и подчас характер ее делался совсем иным. В этой связи приведу еще одно свидетельство Кржижановского: «...приодевшись в какой-нибудь армячок, Владимир Ильич мог затеряться в любой толпе волжских крестьян,— было в его облике именно нечто, как бы идущее непосредственно от этих народных низов, как бы родное им по крови». Может быть, это — самое интересное из всего сказанного об облике Ленина.

Но вот свет погас. Вместо звонка раздался традиционный во французском театре сигнал — троекратный, громкий, отрывистый стук палкой по подмосткам сцены. Занавес взлетел.

Из-за кулисы прямо на рампу быстро, слегка согнувшись — руки в карманах,— вышел Монтегюс, в костюме, напоминавшем апаша: дырявая блуза, под ней полосатая фуфайка, широкий неаполитанский пояс из ярко-красной фланели, мятые брюки, из-под козырька большой кепки черная прядь волос; ботинки новенькие, начищенные до зеркального блеска,— особый шик каждого истинного апаша.

Монтегюс исполнял свои песенки под рояль, и его аккомпаниаторша, выдержав паузу, пока публика

приветствовала его дружными аплодисментами, вдруг ударила по клавишам сильными, мускулистыми руками — и Монтегюс начал программу, после каждого куплета делая небольшое полутанцевальное па. Его грубый, традиционно-хриплый голос, временами вульгарно-крикливый, как нельзя лучше подходил к его сценическому образу, маске отверженного и оскорбленного люмпена, объявившего войну обществу. Его песенки, которые он исполнял одну за другой без передышки, в общем содержали в себе мало революционного, были в достаточной степени сентиментальными, даже мещанскими, и все же в них явственно слышался социальный протест, а временами проскальзывала даже революционная нотка.

Ленин весьма сочувственно слушал этого певца парижских фобуров, склонив голову и глядя искоса на сцену. Когда же Монтегюс начал свой коронный номер «Привет семнадцатому полку», его подведенные, окруженные синевой глаза угрюмо сверкнули.

Франция любима всеми нами.
Верен ты, и все мы ей верны.
Ваш мундир разубран галунами,
Но душой вы — граждане страны.

Скорей на каторгу пойдете,
Чем застрелить родную мать;
Лучше будешь в арестантской роте
Тележку грузную таскать.

Зал застонал, повторяя рефрен:

Привет, привет тебе,
Привет, семнадцатый стрелковый!

— Ну, что вы на это скажете, мой дорогой друг? — спросил Шарль Раппопорт.— Не правда ли, недурно?

— Formidable! — воскликнул Ленин с картавостью настоящего парижанина. Его глаза блестели. Он был в восторге.— А он согласится выступать на платных вечерах нашего русского землячества? Конечно, не бесплатно.

—О, безусловно. Он отличнейший парень. Мы его считаем отъявленным социалистом. Может быть, он даже выступит гратис.

— Тогда еще лучше.

После спектакля в фойе театра аккомпаниаторша продавала ноты с текстом песен Монтегюса, причем на всех нотных листах было напечатано нечто вроде девиза: «Я себя не обманываю. Я не претендую на звание литератора. Плевать я хотел на литературу. Я выражаюсь, как умею. Убежденность — мой единственный талант. Я пишу так, как народ говорит. Поэтому он меня понимает».

— В этом что-то есть,— сказал Ленин, посмеиваясь и в то же время морщась от этого вульгарного «плевать я хотел на литературу».— Гм, гм. Это смотря на какую литературу. Если на контрреволюционную, я не против. Но в общем и целом — недурственно!

Потом все вышли на улицу, полную расходящихся зрителей, и подождали Монтегюса у артистического подъезда, чтобы выразить благодарность за доставленное удовольствие. Ленин с чувством пожал его руку, слегка смазанную вазелином, которым Монтегюс, видимо, только что снимал свой легкий эстрадный грим, в особенности эффектную, какую-то порочную синеву под глазами.

После этого Монтегюса стали приглашать на вечера, которые устраивали русские социал-демократы для пополнения своей партийной кассы, и Монтегюс никогда не отказывался.

Мне захотелось подробнее узнать о личности Монтегюса. Каждый раз, приезжая в Париж, я наводил справки в разных местах: в театральном агентстве Мораццани, у знакомых актеров, поэтов, драматургов,— но ничего интересного разузнать не мог. Актеры и поэты были слишком молоды, чтобы лично знать Монтегюса, а Мораццани сказал мне, что действительно существовал такой шансонье, сын коммунара, Монтегюс, он умер в 1953 году в возрасте свыше восьмидесяти лет. Остались ли после него родственники? Где он жил? Неизвестно. Он ни с кем не общался и никому не давал своего адреса. А в Париже не существует адресного стола. И если человек не желает, чтобы знали его адрес, то его местожительство остается навсегда неизвестным всем, разумеется, кроме полиции. Родственников тоже нет. Он жил и умер одиноким, замкнутым стариком, мрачным и как бы угнетенным какой-то постоянной черной мыслью. Моя попытка достать ноты с его песенками тоже не увенчалась успехом. Да это, в сущности, не имело особого значения. Однако мне повезло в другом роде. Один из моих парижских друзей подал интересную мысль — посетить дом для престарелых артистов эстрады, где, весьма вероятно, можно будет найти какого-нибудь старого парижского эстрадника, знавшего Монтегюса.

Помимо всего прочего, было вообще очень любо-

пытно побывать в этой богадельне, где доживали свой век некогда прославленные звезды парижских мюзик-холлов и кабаре. Этот дом для престарелых артистов был устроен на средства знаменитого французского шансонье Мориса Шевалье. Он находился за городом, среди полей и лугов, где-то в районе Вильжюиф, если я не ошибаюсь. Это старый помещичий дом восемнадцатого, а может быть, даже семнадцатого века в два этажа с мансардой, длинный, потемневший от времени, выстроенный в стиле французского неоклассицизма,— одно из многочисленных подражаний версальскому дворцу, так называемый «шато», то есть замок французского дворянина средней руки.

Мы еще издали увидели над купой желтеющих деревьев его высокую, чешуйчато-графитную крышу. Перед фасадом замка лежал запущенный газон некогда великолепного партера, и по свежей еще траве, среди отцветающих клумб гераней ходил большой, очень красивый, породистый французский баран с антично закрученными рогами, скульптурной головой и прелестными прозрачными глазами, полными пугающей глупости. Посередине партера стояла в виде большой мраморной скрижали с цветным мозаичным, несколько декадентским изображением печального Пьеро мемориальная доска с именами французских эстрадных артистов, погибших на поле брани за родину. Французы свято чтят имена своих героев. На пятом этаже громадного универсального магазина «Лувр», на служебной лестнице, я видел мраморную доску с многочисленными именами приказчиков магазина, погибших смертью храбрых в первой мировой войне.

Машина остановилась перед стеклянной галереей, которая занимала первый этаж во всю его длину, и мы вошли в нее через очень высокую дверь-окно со старинной ручкой давно уже не чищенного медного замка́. О нашем приходе были извещены. Нас встретил любезный администратор, терявшийся в догадках, за каким чертом явились мы на своей машине с дипломатическим номером в это заведение, куда в течение многих лет не заглядывал ни один почетный посетитель, а тем более иностранец. Я объяснил цель своего посещения и был приглашен в небольшой салон, обставленный дряхлой мебелью разных стилей — креслами Людовиков, секретерами Жакоб, мозаичными столиками с медными перильцами и, конечно, бронзовыми каминными часами под стеклянным колпаком, которые отражались в высоком зеркале, потерявшем от времени свой ртутный блеск. По стенам висели ветхие зелено-коричневые гобелены, где ветвистые деревья были перепутаны с ветвистыми рогами оленей, а также портрет Чайковского, который при ближайшем рассмотрении оказался Виктором Гюго.

Два старичка и бойкая старушка вошли в салон и были представлены мне как товарищи Монтегюса по эстраде. Старички были куплетистами, а старушка — пианисткой, аккомпаниаторшей Монтегюса. Все трое казались чрезвычайно обрадованными и даже несколько возбужденными оттого, что после долгих лет полного забвения они вдруг вызвали в ком-то интерес. Они сразу как бы расцвели и на моих глазах из типичных обитателей богадельни со всеми своими маленькими интересами и еженедельными склоками превратились в обаятельных представителей великого

эстрадного искусства, остроумных собеседников, любимцев парижской публики. В особенности суетилась старушка аккомпаниаторша, показывая в лицах, как выходил на эстраду незабвенный Гастон, как он маршировал, исполняя свой знаменитый «Привет семнадцатому полку», и как появлялась на сцене она в шикарном туалете от знаменитой Кутюр с улицы Шоссэ д'Антенн, в прическе Клео-де-Меро и с настоящими жемчужинами в ушах, а не в каких-нибудь клипсах. На вопрос, каков был собой Монтегюс, она сказала, что он был всегда бравый мужчина. Она вся преобразилась и даже стала стрелять глазками, как настоящая шантанная дива, но тут вмешался один из старичков — добродушный, кругленький, в полосатых, так называемых «штучных» брюках, которые обыкновенно надевали под визитку, в бархатном артистическом пиджачке, заметно побелевшем на локтях, плешивый, с красным носиком и танцующими движениями всего его толстенького тельца. Он сказал, что был большим другом Монтегюса, «моего доброго Гастона», и они оба имели на эстраде громадный успех, хотя и выступали в разных жанрах.

— Мой дорогой друг Гастон — в жанре несколько романтическом и сентиментальном, с примесью политического перца, а я в более земном — хе-хе-хе! — не без клубнички и без всякой политики, но это не мешало нам — мне и дорогому Гастону — быть большими друзьями.

— Вы знаете,— спросил я,— что Ленин слушал Монтегюса и что ему нравились его песенки?

— О, конечно! Это известно всему Парижу. Великий Ленин, я знаю его,— основатель Советской ре-

спублики. Он очень ценил талант бедного Гастона. И это не удивительно. Ведь Гастон тоже был очень левый. Настоящий красный. У него была одна революционная песенка «Труба беды». Я вам сейчас ее спою, чтобы вы имели представление. Это против войны. Марш. Вот так.

Старичок в бархатном пиджачке сделал выход, подражая своему другу Монтегюсу, отбил ногой такт и запел дрожащим, но уверенным голоском:

Труба беды, труба беды
Трубит печальный марш...
Тру-ру, тру-ру, тру-ру-ру-ру...

Он забыл дальше текст и маршировал взад-вперед по ветхому ковру-обюссон, делая губами «раз-два, раз-два», и молодцевато, как солдат, поглядывал на портрет Гюго.

— Это был настоящий патриот! — со слезами на глазах воскликнула старушка аккомпаниаторша, воспользовавшись паузой.— Настоящий революционер!

— Я этого совсем не нахожу,— сердито сказал другой старичок, худой, со впалыми щеками и бровями колючими, как креветки.— Может быть, сначала Гастон действительно был красным... вернее, розовым... Но очень скоро он изменил своим идеалам и сделался ренегатом... Как Клемансо, как Бриан...

— Вы не смеете так говорить о Гастоне Монтегюсе! — напыщенно произнес старичок в бархатном пиджачке, перестав маршировать.— Монтегюс был благороднейший человек, настоящий радикал, революционер!

— Он никогда не был революционером,— сердито и решительно сказал старичок с бровями как кревет-

ки.— Я повторяю, что он был ренегат, ваш Монтегюс. Я был его другом, но истина для меня дороже.

— О, не слушайте его, месье! — закричал первый старичок, протягивая ко мне дрожащие ручки.— Монтегюс был красный.

— А я вам говорю, он был ренегат, реакционер и шовинист.

Услышав это, старушка аккомпаниаторша всплеснула руками. Она металась между старичками куплетистами, желая восстановить мир, но ей это не удалось, и тогда она, пожав плечами, сказала, обращаясь ко мне:

— Бог мой! В этом вся трагедия Франции. Сколько людей, столько политических врагов. Французы всегда спорят между собой на политические темы. Увы, такова бедная Франция!

— Вы мне не докажете, что Монтегюс был ренегат! — кричал первый старичок.

— Докажу! — кричал второй.

— Докажите!

— В июле четырнадцатого года социализм моего друга Гастона превратился в самый вульгарный национализм.

— Вы не смеете так говорить!

— Нет, смею, сударь, смею. В то время, когда бедный Жорес пал от руки убийцы-негодяя, Монтегюс прославлял с эстрады рабочего, уходящего на фронт, и его подругу, «небесно-голубую дочь Франции», которая остается ему верна. Монтегюс толкал народ в пекло всемирной империалистической бойни. Каждый день он печатал воинственные куплеты в газете

такого же ренегата, как он сам, бывшего социалиста Гюстава Эрве. Он превратился в немцееда.

— И правильно. Бошей надо уничтожать. Но тем не менее вы не докажете, что Гастон был шовинист. Докажите-ка!

— И докажу. Извольте. Вот так... Двадцать пятого августа в газете подонка Эрве с фальшивым названием «Социальная война» были напечатаны стишки нашего друга Монтегюса, которые являлись блестящей формулой — отдадим ему должное — измены социалистов пролетарскому интернационализму.

И второй старичок, брызгая слюной, запел, подражая Монтегюсу:

Nous chantons la Marseillaise,
Car dans ces terribles jours
On laisse l' Internationale
Pour la victoire finale,—
On la chant'ra au retour,—

что значило по-русски: «Мы поем «Марсельезу», так как в эти ужасные дни «Интернационал» оставлен — до окончательной победы. Его будут петь по возвращении».

— Вот что из себя представлял прославленный Монтегюс во время первой империалистической войны. Не удивительно, что буржуазия стала петь нашему бедняге Гастону дифирамбы. Он получил свои тридцать сребреников.

— Господа! Друзья мои! Не надо ссориться! — кудахтала старушка аккомпаниаторша.— Пойдемте, месье,— обратилась она ко мне.— Я лучше покажу вам его фотографию. Он на ней как живой.

Старички куплетисты остыли так же быстро, как закипели, и мы все отправились в галерею, где висели портреты знаменитых французских эстрадников и среди них, конечно, громадный портрет масляными красками основателя этого дома, короля парижских шансонье, легендарного Мориса Шевалье — красавца мужчины в твердом соломенном канотье набекрень. Бросалась в глаза большая фотография под стеклом, где была снята во весь рост великая французская шансонетка Мистангет. Она стояла на заднем сиденье открытого автомобиля, одной рукой подхватив пенистый шлейф своего умопомрачительного платья из валансьенских кружев, а в другой руке держа полураскрытый кружевной зонтик чудной красоты и, вероятно, дьявольских денег. На голове Мистангет сверкало эспри из страусовых перьев, унизанных бриллиантами, а ее задорное простонародное лицо, уже несколько поблекшее, но все еще неотразимо выразительное — лицо молодой шестидесятилетней парижанки, — повернутое в три четверти, светилось такой неувядаемой энергией любви, что я невольно забыл о ее почтенном возрасте.

— Это великая Мистангет, — шепотом сказала аккомпаниаторша, с молитвенным выражением приложив свои морщинистые пальчики к морщинистым губкам, опушенным седенькой растительностью. — Парижский муниципалитет недавно повесил на доме, где она жила, мемориальную доску. Если вы будете когда-нибудь проходить по бульвару Капуцинов, обратите внимание на эту мраморную доску. Это где-то совсем рядом с домом, где помещался первый в мире синемà братьев Люмьер. Франция умеет чтить

своих великих людей. А вот и мой бедный Гастон,— прибавила она грустно.

Я увидел небольшую фотографию Монтегюса. Право же, его внешность совсем немного отличалась от той, которую я нарисовал в своем воображении, слушая рассказы о нем Марселя Кашена и Шарля Раппопорта: кепи, худые, бледные с синевой щеки, френч. Мрачные израильские глаза, сильно подведенные и неподвижные, как у морфиниста. Они неприятно выделялись на белизне напудренного лица. Прядь темных волос, упавшая из-под большого козырька кепки, оттянутой на затылок, как бы еще более усиливала белизну гладко выбритых актерских щек. В общем, у меня осталось какое-то странное, тягостное впечатление, и, откровенно говоря, мне почти невозможно было теперь представить себе рядом Монтегюса и Ленина, мечтающего вслух о мировой революции.

Вечером того же дня мы пили чай у Арагонов. Речь зашла о Монтегюсе. Я поделился своими впечатлениями.

— Он был агентом тайной полиции, этот самый Гастон Монтегюс,— жестко сказал Арагон.— Теперь это доказано, он действительно был сыном и внуком коммунаров, что не помешало ему стать сначала ренегатом, а потом самым вульгарным шпиком. Не будем больше говорить об этом человеке.

Мне стало многое ясно в характере Монтегюса: замкнутость, одиночество, неприкаянная старость, смерть в безвестности. Видно, не легко было пережить свое

предательство человеку, который начал жизнь социалистом, а кончил платным агентом Сюртэ Женераль. Ленин так никогда и не узнал об этом. Это был не единственный в то время случай предательства. Чего стоит хотя бы один лишь Роман Малиновский! «Царское правительство,— пишет об этом времени Крупская,— ...опутывало всю рабочую организацию целою сетью провокатуры. Это были уже не старые шпики, торчавшие на углах улиц, от которых можно было спрятаться; это были Малиновские, Романовы, Брендинские, Черномазовы, занимавшие ответственные... посты». (Ответственные партийные посты.)

Невероятно трудное, тяжелое это было для Ленина время, когда с русским ЦК дело было в 1910 году «хуже не надо»,— пишет Крупская. «Впередовцы продолжали организовываться. Группа Алексинского ворвалась раз на заседание большевистской группы, собравшейся в кафе на Авеню д'Орлеан... Алексинский с нахальным видом уселся за стол и стал требовать слова и, когда ему было отказано, свистнул. Пришедшие с ним впередовцы бросились на наших. Члены нашей группы Абрам Сковно и Исаак Кривой ринулись было в бой, но Николай Васильевич Сапожков (Кузнецов), страшный силач, схватил Абрама под одну мышку, Исаака — под другую, а опытный по части драк хозяин кафе потушил огонь. Драка не состоялась. Но долго после этого, чуть не всю ночь, бродил Ильич по улицам Парижа, а вернувшись домой, не мог заснуть до утра».

«Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой

склоки и скандала, маеты и «накипи» тошно; наблюдать все это — тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению,— пишет Ленин Горькому на Капри.— Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее, чем была до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны».

Какие горькие слова! Ленин твердо решил не давать себя во власть настроению. Но ведь и он был человек, со всеми человеческими слабостями. Потянуло на юг. Захотелось тишины, покоя, красоты, природы, солнца. В конце весны Ленин, отправившись вместе с Надеждой Константиновной и тещей Елизаветой Васильевной в небольшое местечко Порник на берегу зеленого Бискайского залива, где можно было недорого устроиться на лето, послал к черту все эмигрантские склоки, маету и «накипь» и, неожиданно для всех, и в первую очередь для самого себя, махнул на Капри.

Он не только устал от эмигрантской сутолоки, но также сильно стосковался по России. В проливе между Корсикой и Сардинией вспоминал свою родную Волгу. Во всяком случае, в открытке к матери Ленин пишет, что доехал от Марселя до Неаполя пароходом: «дешево и приятно. Ехал, как по Волге». Не забыл, значит, Волгу! Может быть, высокие, поросшие сплошным кустарником каменистые берега Корсики напомнили ему Жигули, по которым он так много полазил в свои юношеские годы — в косоворотке, в накинутой на плечи студенческой тужурке,— золото-

волосый, лобастый, повернув свое смугло-румяное, молодое, скуластое лицо к ветру, так вольно гулявшему по вершине Жигулей, и во весь голос пел одну из своих любимых песен «Есть на Волге утес...»

Может быть, и теперь, стоя на спардеке пассажирского парохода и любуясь скалистыми берегами Корсики, которые почти отвесно опускались в удивительно синюю, чистую воду Средиземного моря, Ленин, чувствуя себя хоть на миг одиноким, свободным и юным, напевал вполголоса:

Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,—
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

В этой песне Ленину всегда слышалась народная мечта о смельчаке, которому утес-великан перескажет заветные думы Степана Разина. Недаром же один из интереснейших наших поэтов, Владимир Нарбут, в разгар революции, в 1919 году, писал:

Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов.

Посылая матери привет из Неаполя, Ленин сообщал, что двигается отсюда на Капри ненадолго.

По странному совпадению я тоже в 1910 году, примерно в это же время, может быть, на месяц рань-

ше, в первый раз в жизни попал на Капри. Мне было тогда тринадцать, а моему брату Жене — будущему писателю Евгению Петрову — семь лет. Отец повез нас за границу. От Одессы до Неаполя морем, дальше по железной дороге. Из Неаполя мы, конечно, ездили на пароходике на Капри, и я на всю жизнь запомнил посещение нами знаменитого голубого грота — «Гротто Азуро». Ловко перебирая смуглыми руками по мокрой железной цепи, приклепанной к скале над самой головой, лодочник изо всех сил помогал нашей лодке поскорее проскользнуть из узкого и низкого каменного туннеля, где могучий поток морской воды, то поднимаясь, то опускаясь, каждую секунду готов был разнести лодку в щепки о скалистые своды, поросшие скользкими водорослями. Мы прижались ко дну, зажмурились от ужаса и в тот же миг увидели, что лодка уже плывет внутри грота по невероятно яркой, сапфирной воде, насквозь освещенной откуда-то снизу преломленным светом каприйского ослепительного полудня. Помню стеклянно-синие изумленные лица папы и Жени, гул, стоящий в гроте, как в пустой церкви, и громкий, как выстрел, звук капель, падавших с весла в воду. Хорошо помню живописную фигуру нашего лодочника — мальчишку примерно моего возраста, гордого тем, что самостоятельно возит форестьеров в «Гротто Азуро», снисходительно принимая их восхищение волшебным зрелищем знаменитой на весь мир пещеры. Он был в штанах, засученных выше худых мальчишеских колен с перламутровыми ссадинами, в матросском тельнике, и мне навсегда запомнилась его красивая широколобая голова с немного вьющимися, как у бычка, темно-ру-

сыми волосами, повязанными на неаполитанский манер красным платком, и светлыми тосканскими глазами с виноградной косточкой зрачка. О, как мне хотелось тогда подружиться с этим итальянским мальчиком, сверстником, который с такой неподражаемой грацией греб стоя, поплавать вместе с ним, понырять в изумительной средиземноморской воде, попросить, чтобы он дал мне немного погрести, и объяснить, что у нас на Черном море мальчики тоже умеют грести стоя, потому что, как написано в энциклопедическом словаре, Черное море есть лишь только залив Средиземного. Но тщетно. Он как бы не замечал всех моих гримас и заигрываний и обращался только к моему отцу, взрослому человеку, который его нанял и умел с ним объясняться по-латыни. Впрочем, один раз мальчик не выдержал своей роли солидного, пожилого рыбака и улыбнулся мне дружеской озорной улыбкой, которую я запомнил на всю жизнь.

Легко можно допустить, что именно этот самый каприйский мальчик — помнится мне, его имя было Луиджи — через месяц после нас возил в «Гротто Азуро» небольшую компанию других русских: знаменитого писателя Максима Горького — скритторе Массимо Горки, его красавицу жену, знаменитую русскую артистку, донну Марию (в районе Неаполя принято называть даму не синьорой, а на испанский манер — донной) и еще одного незнакомого русского. По мнению Луиджи, этот незнакомый русский со своим острым прищуренным глазом, веселым смехом и свободной манерой обращения, наверное, был один из тех русских конспираторов, бомбистов — может быть, даже самый главный из них, — которые всегда

дружат с Массимо Горки и подготовляют здесь, на Капри, новую русскую революцию с тем, чтобы навсегда разделаться с царем, помещиками, фабрикантами и на развалинах старого мира водрузить красное знамя социализма. И Луиджи не ошибся: этот синьор был действительно один из самых великих революционеров мира.

Вот несколько строк из воспоминаний Горького о Ленине, относящихся к тому времени:

«...Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня... Не могу представить себе другого человека, который стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям»... Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — задушевный смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем»...

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объяснили ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

— «Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они все спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?»

Наверное, маленький итальянский лодочник Луиджи гордился тем, что ему довелось возить в «Гротто-Азуро» самого Ленина, и, наверное, тоже беспокоился потом, не схватил ли его царь. А ведь Ленин провел на Капри всего восемнадцать дней. И все это время за ним с любовью следили настойчивые глаза каприйских лодочников, рыбаков, носильщиков, гидов... Они видели небольшую, крепкую, энергичную фигуру Ленина в узких каприйских уличках — между двух каменных глухих стен, из-за которых торчали колья виноградников, красивые кроны вековых грецких орехов, серебристая листва маслин, шелковицы с кроваво-черными ягодами. Они видели, как он медленно шел возле капеллы Санта-Мария Дель Соккорсо, откуда открывался глазам его потрясающий вид на Неаполитанский залив с островами Искья и Прочида, с пыльной зеленью Сорренто и с Везувием, который виднелся вдалеке над белыми кубиками городов, как полого осыпавшийся двугорбый песчаный холм с хвостом сернисто-пепельного дыма над кратером.

«На этом острове,— читаем мы в «Господине из Сан-Франциско» Бунина,— две тысячи лет тому назад

жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокостей сверх всякой меры,— и человечество навеки запомнило его, и те, что в совокупности своей столь же непонятно и, по существу, столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова».

Среди прочих достопримечательностей Капри Ленин, конечно, видел и эти развалины дворца кровавого тирана. Но не думаю, чтобы они произвели на него особенно сильное впечатление или вселили в его душу ужас. Давно уже он посвятил свою жизнь борьбе со всеми и всяческими тиранами — живыми и мертвыми. Они его не пугали. Он шел на них во всеоружии своего гениального ума, чистого, горячего сердца и той святой человеческой правды, против которой бессильна власть любого тирана, как бы могуществен, непобедим ни казался он людям. Я думаю, гораздо большее впечатление произвела на Ленина тарантелла, которой угостил его Горький, устроивший поездку на ослах в Анакапри, где они всей компанией провели прелестный вечерок в маленькой деревенской траттории за бутылкой розового «тиберия». В таком сочетании имя тирана было вполне приемлемо и не мешало ни танцам, ни сердечному веселью.

В последний раз я побывал на Капри года два назад, примерно через пятьдесят с чем-то лет после пер-

вого посещения этого острова в 1910 году, и вот что со мной произошло. Едва мы очутились на знаменитой площади Капри в толпе туристов, которые с утра до вечера толкутся на этом пятачке, центре города, как мне показалось, что на меня кто-то пристально смотрит. На широкой лестнице, ведущей с площади к церковной паперти, в толпе гидов, носильщиков, лодочников, гостиничных комиссионеров и владельцев маленьких туристских осликов с красными чехольчиками на ушах, которые обычно дожидаются тут работы, я увидел человека, показавшегося мне странно знакомым. Коренастый, плотный, с седыми, коротко остриженными и слегка вьющимися, как у бычка, волосами, широколобый, он стоял в пестро-абстрактной рубахе навыпуск с двумя пуговичками у ворота и короткими рукавами, обнажавшими почти до самых плеч его могучие бицепсы старого лодочника. У него было красивое лицо моложавого старика, и он смотрел на меня прозрачными тосканскими глазами с виноградной косточкой зрачка. Мы прошли мимо него вслед за носильщиком, несшим на плече наши чемоданы, но он уже смотрел в другую сторону, и я тотчас о нем забыл. Но на другой день он опять встретился нам на старом месте. Он солидно, с громадным достоинством разговаривал с какими-то немцами-туристами, и я понял, что он предлагает им поездку на моторном катере в «Гротто Азуро». Теперь я готов был поклясться, что хорошо его знаю, и тем не менее никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах мы встречались. Он посмотрел в мою сторону и сдержанно улыбнулся: добродушное широкое лицо, тосканские глаза

и седые волосы, постриженные а ля Титус и начесанные на лоб. И мы снова разошлись, не сказав друг другу ни слова. И вдруг я вспомнил... Это было вечером, когда мы обедали в роскошном ресторане нашего отеля.

На дворе разыгралась непогода, лил дождь, приводивший всех туристов в отчаяние, а по склонам Монте-Соляро в надвигающихся осенних сумерках ползли низкие грозовые тучи, и уже несколько раз гористый горизонт вспыхивал за окнами синими огнями молний. В холле по креслам и столикам были разбросаны мокрые макинтоши, а на белом фаянсовом полу, расписанном букетами удивительно красивых цветов, сушились раскрытые зонтики. В зале закрыли окна, и за черными стеклами часто вспыхивали сполохи, как демоны глухонемые Тютчева. Как почти во всех итальянских провинциальных городках, гроза ощутительно влияла на работу местной электростанции, так что люстры и торшеры поминутно мигали, их накал ослабел, и казалось, что они вот-вот погаснут, и тогда ресторанный зал со всеми обедающими погрузится во мрак. Чувствовалось, что слабая городская электростанция уже не в силах побороть натиск небесных сил, и действительно, в зале вдруг наступила полная тьма. За громадными окнами загорелись огни Святого Эльма, затрепетало синее пламя грозы, лица и руки у всех людей стали как бы сделаны из синего светящегося стекла. «Принесите канделябры!» — раздался спокойный, повелительный голос метрдотеля, и вот именно в этот-то самый миг я вспомнил итальянского

мальчика Луиджи, который полвека тому назад греб стоя, везя нас троих — папу, Женю и меня — в «Грот-то Азуро»,— нас троих, из которых остался на белом свете один только я. Сомнений не было: мальчик Луиджи и седой лодочник на лестнице возле площади — одно и то же лицо. Через пятьдесят лет мы встретились, у него оказалась зрительная память лучше, и он первый меня узнал: теперь мне стало вполне понятно дружеское выражение его лица и немного грустная улыбка, обращенная ко мне, как бы говорящая: как мы оба постарели с тобой, русский мальчик.

Пятьдесят лет. Полстолетия. Какой, в сущности, пустяк по сравнению с жизнью всего человечества! Лакеи, не мешкая, внесли зажженные канделябры, осветившие, как жаркие золотые костры, нарядный ресторанный зал со всеми его цветами, вьющимися растениями, хрустальным и фарфоровым блеском кувертов, крахмальными салфетками и бокалами, до половины налитыми льдисто-мерцающим белым и церковно-горящим красным вином. Увы, больше мне не удалось встретиться с синьором Луиджи и пожать ему руку. Лишь однажды, купаясь под сваями уже заколоченной на зиму купальни, мы увидели с берега моторный катер с туристами, направлявшийся вдоль бухты Марина Гранде к Голубому гроту, и на носу, повернувшись лицом к публике, расставив крепкие ноги, синьор Луиджи красноречиво описывал достопримечательности Капри, стараясь перекричать треск старого мотора. Больше я его не видел, но уверен, что когда в следующий раз поднимусь на фуникулере и выйду на знакомую райскую площадь, то первый,

кого я увижу, будет святой Луиджи, и мы молчаливо улыбнемся друг другу земной улыбкой, как старые незнакомые друзья.

Ни с чем не сравнимое сладкое ощущение потери времени, вернее, его смещения... Все чаще и чаще оно преследует меня теперь, на склоне лет. Вижу Капри таким, каким он был пятьдесят лет тому назад, в один знойный июльский день 1910 года, и Ленина, скачками идущего вниз по крутой скалистой дороге, мимо исполинских агав и кактусов к бухте Марина Пиккола, где он любил купаться.

Не мог же Ленин, живя на Капри, не купаться! Наверное, купался. Представляю себе, как, аккуратно сложив брюки и повесив пиджак на вешалку в купальне с дешевым, как бы жестяным зеркалом, где сухо пахло раскаленными сосновыми досками и узкий солнечный луч бил в овальную дырочку выскочившего сучка, пронизывая сумрак тесной кабинки и рисуя на стене маленькое, цветное, перевернутое низом кверху изображение движущихся волн и скал Фаралионе, как в камере-обскуре, Ленин вышел из кабины и стал прохаживаться по горячей от солнца веревочной дорожке, давая себе остыть, а потом опустился несколько боком по лесенке на скалы, обжигавшие подошвы ног, фыркнул и вдруг решительно бросился в воду, раскидав вокруг себя сверкающие брызги. Сначала он плыл, высунувшись из воды почти по пояс, по-волжски, саженками, или, как говорят на юге, «на размашку», а потом лег на спину, заложив крепкие руки за голову, и закачался на волне. Волна

осторожно носила его туда и назад, поднимала и опускала, поворачивала его крепкое золотистое тело, освещенное неистовым итальянским солнцем. Он лежал с закрытыми глазами и сквозь рыжеватые сомкнутые ресницы видел пурпурно-красное сияние какого-то фантастического, бесформенного, почти абстрактного и вместе с тем такого осязаемо материального мира солнечного света, пронизавшего кровеноснососудистую сетку его закрытых век. Ленин отдыхал от приятной, но немного утомительной жизни на вилле Блезус, где великого Горького вечно окружали разные люди: и гости, и приезжие, и друзья, и враги, которые по годам жили у Горького, «свои» и «чужие» — словом, толчея непротолченная, в которой Горький чувствовал себя преотлично: изучал характеры, делал художественные наблюдения, обобщал. Со стола целый день не сходила еда, совершенно так, как в горьковских пьесах. Ели, пили, закусывали. Только еда была итальянская — много зелени, рыба, спагетти, рисовый суп с лимоном, розовое или белое каприйское вино, сыр гарганзола и в большой вазе серо-лиловые морщинистые фиги и зеленый миндаль, который не кололи щипцами, а разрезали ножом — так нежна была еще не затвердевшая скорлупа под мясистой суконно-зеленой кожей — и лакомились еще не вполне созревшими миндалинами восковой спелости. Они были упоительно вкусны, особенно после глотка прохладного розового «тиберия».

Я это описываю с такой точностью, потому что в двадцатых годах гостил у Горького в Сорренто, где, конечно, трен жизни ничем не отличался от каприйского. И, разумеется, целый день, начиная с часу

дня — до этого времени Горький уединенно работал, — множество самого различного народа, шум, споры, дискуссии, чтение старых и новых стихов, прозы, шутки, смех, остроты, даже забавные переодевания и нечто вроде шарад. Не думаю, чтобы все это слишком увлекало Ленина, который не выносил пустых словопрений и ни к чему не обязывающих мимолетных мыслей; кроме того, наученный горьким опытом парижской эмиграции, он с величайшей осторожностью относился к знакомству с малоизвестными людьми. Вообще Ленин, по воспоминаниям Н. А. Алексеева, «совершенно не способен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях». В этом отношении жизнь у Горького, без сомнения, сильно утомляла Ленина. Он держался, сколько это было возможно, особняком.

У него был маленький, тоненький карандашик и маленькая записная книжечка, куда он, отстав от шумной компании во время какой-нибудь прогулки или экскурсии, что-то быстро, но тщательно вписывал своим прелестным почерком. «Вместе с простотой и прямотой обращения, которые привлекали к нему, — пишет А. Шаповалов, — от него веяло отчасти холодком, который ставил собеседника на некоторое расстояние от него».

Лежа на спине в море, он отдыхал. Отдыхал, разумеется, чисто физически. Отдыхало его тело, его мускулы. Но умственно он никогда не отдыхал. Его ум всегда — и во сне тоже! — работал, кипел напряженной, титанической работой мысли.

«Только через много лет,— пишет С. И. Гопнер,— когда было издано полное собрание сочинений В. И. Ленина, мы узнали по-настоящему, какую титаническую работу, теоретическую, политическую, организационную, проделал Владимир Ильич в те годы».

Тело его отдыхало, ум — кипел.

По всей вероятности, именно тогда окончательно созрело решение в противовес каприйской так называемой «партийной школе», которая ничего, кроме вреда, делу партии не приносила, как можно скорее устроить собственную, ленинскую, настоящую рабочую, большевистскую школу в Париже или еще лучше в целях конспирации где-нибудь под Парижем. Время не ждало, нужно было действовать. Ленин был человек действия. И он так же внезапно, как решил ехать на Капри, теперь решил незамедлительно возвращаться во Францию.

И вот последний его каприйский вечер. На вилле Блезус опять множество гостей. На террасе ужинают. Как в России на даче, горят свечи под стеклянными колпаками. Вокруг кружатся ночные бабочки. Внизу в черноте кричат цикады. В клетке мечется один из двух попугаев Горького, по имени Лоретта. Она никого не подпускает к своей клетке, кроме Горького. Лоретта судорожно хлопает крыльями, выкрикивает бессвязные слова пронзительным картавым голосом, как взволнованная француженка. Перья во все стороны, горбатый клюв, сумасшедшие глаза с замшевыми веками.

— Закатывает истерику,— говорит Горький Ленину,

подходит к клетке и бесстрашно просовывает сквозь прутья сухой, тонкий указательный палец.— Истерическая особа. У нее личная трагедия.

Услышав знакомый голос, Лоретта постепенно замолкла, стала утробно клокотать, как квочка, успокоилась...

Ленин исчез незаметно, «по-английски». Он спустился вниз по каменной лестнице, как бы с головой окунулся в непроглядную тьму, жаркую, тропически душную, насыщенную бальзамическим запахом раскаленных за день сосен, лавровишен, цветущих по всему острову, каперсов. Подошвы сандалий скользили по хвое, а вокруг продолжали с утроенной силой трещать, деревянно пилить ночные цикады, оглушая и вместе с тем странно успокаивая нервы. То и дело мелькали летающие светлячки; пунктир их полета напоминал движение конькобежца елочкой: то направо, то налево, то направо, то налево, то вспыхивает, то гаснет. Потом стали слышны громкие, подмывающие звуки расстроенного фортепьяно: это в синематографе под открытым небом в парке Адриана таперша наяривала матчиш. Ленин увидел среди деревьев, в листве, громадный, ярко светящийся, мигающий экран натянутого полотна, по которому в такт матчиша, заглушаемого взрывами смеха, передвигались несколько удлиненные фигуры. Ленин узнал фатоватую фигуру Макса Линдера с хризантемой в лацкане фрака, в белых гетрах и лакированных ботинках, с лоснящимся цилиндром в откинутой руке и тросточкой в другой руке, с темными усиками над бело-

зубой улыбкой, с курносым носиком и по-женски прекрасными черными бархатистыми глазами, которыми он юмористически стрелял во все стороны, взбегая по винтовой парижской лестнице на второй этаж, где его уже дожидалась разъяренная дама в корсете, с половой щеткой, спрятанной за спину. «Матчиш — прелестный танец, живой и жгучий, привез его испанец, брюнет могучий»... Тарам... тарам... Звуки матчиша взбирались на самый верх, заливались стеклянной трелью и, хромая, бежали по клавишам с непристойной отдышкой отыгрыша. Взрывы хохота с равными промежутками следовали друг за другом.

Улыбаясь в потемках себе в усы, Ленин выбрался мимо заманчиво освещенных отелей на Пьяццу, сплошь заставленную столиками четырех кафе, прошелся возле магазинчиков, сиявших золотом, бриллиантами, всяческими сувенирами, флаконами французских духов, множеством розово-голубых итальянских пейзажей с Везувием и пинией на переднем плане в несуразно широких старинных золоченых рамах и в узеньких рамках модерн. Ленин ходил по совсем узким уличкам, извилистым, таинственным, стиснутым между каменными домиками зеленщиков, бакалейщиков, портных, сапожников, ювелиров. Он шел вдоль глухих стен, увитых ползучим виноградом и глицинией, под балконами роскошных вилл, откуда временами слышалась костяная дрожь мандолины и бархатный, приглушенный голос пел «О соле мио». О солнце мое, думал Ленин, чувствуя то острое, нервное возбуждение — томительное и необъяснимое, — которое всегда вызывала в нем музыка. Ему хотелось остановиться, сесть на каменный парапет, еще не

остывший от дневного зноя, и всей душой без остатка отдаться этой ни с чем не сравнимой итальянской народной музыке, полной любви и страсти. Ему захотелось погрузиться в глубину этой каприйской ночи с ее цикадами, летающими искрами светляков и звездами над черным, словно китайская тушь, пространством Неаполитанского залива, где в одном месте с равными промежутками разгоралось и гасло зарево над незримым кратером огнедышащего Везувия, слабо освещая низко висящий над Неаполем жгут сернистого дыма. О, как полна была в эти минуты его душа, как натянуты нервы! И все это от безделья, подумал он. Нет, баста, хватит, надо поскорее возвращаться в Париж. За дело, за дело!

А в это время заканчивался сеанс синематографа, и под звуки вальса на экране шел Патэ-журнал: над Боденским озером поднимался огромный, граненый, как карандаш, дирижабль графа Цеппелина — грозное видение надвигающейся войны.

Пробыл Владимир Ильич на Капри совсем недолго, но долго после его отъезда у Горького было грустное настроение, с которым он все никак не мог справиться.

По своему обыкновению провожая приятных ему гостей до Неаполя, Горький с увлечением показывал Ленину Помпею, неаполитанский музей, где он знал буквально каждый уголок. Они ездили вместе на Везувий и по окрестностям Неаполя.

Все это я также представляю себе очень точно,

потому что в 1927 году летом Горький проводил нас из Сорренто до Неаполя и также показывал нам достопримечательности Неаполя. Была адская жара, что-то выше тридцати пяти градусов в тени, и мы страшно устали от ходьбы и обилия впечатлений. А так как, по словам М. Эссен, Ленин «еле переносил посещение музеев и выставок», то нетрудно было представить его самочувствие в громадном Национальном музее в июле месяце среди сотен произведений старинной живописи и скульптур. Ленин любил все современное, живое, «любил живую толпу, живую речь, песню, любил ощущать себя в массе». А часами ходить по музею, каждую минуту останавливаясь перед статуями римских императоров, тиранов, громадных, нечеловечески-величественных,— нет, это никак не могло нравиться Ленину, как не могла ему нравиться римская государственность. Я думаю, что Ленин — самый человечный человек, опередивший на несколько поколений свое время,— должен был с отвращением смотреть снизу вверх на громадные мраморные фигуры низколобых цезарей с животным выражением низменных мускулистых лиц, с медальными профилями и стеклянными вставными глазами — вроде статуи Сципиона Африканского,— идолы, изделия римских ваятелей — льстецов и подхалимов, послужившие через несколько тысячелетий образцом для многочисленных статуй Сталина, к счастью, уже теперь забытых, как дурной сон. Среди множества грязно-белых мраморных скульптур первого этажа каким-то образом оказалось небольшое, немного меньше чем в рост человека, отлитое из темной бронзы изображение пьяного сатира с гроздью винограда

в одной руке и чашей в другой — старенького, хитренького, на козлиных ножках, с умным, добродушным лицом, таким человеческим со всеми его милыми человеческими слабостями. Все же остальное, даже медная полоса меридиана, вделанная наискось в мозаичный пол громадного, как площадь, зала второго этажа, увешанного старинными полотнами, было совсем неинтересно и вызывало лишь утомление, несмотря на все старания Горького.

Зато как ошеломительно ударил в глаза нестерпимо яркий неаполитанский полдень, когда наконец вышли из музейного сумрака на улицу со звенящим трамваем, с криками мороженщиков «джелято, джелято!», с разноцветным бельем, развешанным между домами поперек темных, узких переулков, пересекающих нарядную Виа Рома. Как весело было смотреть на фонтан посередине площади Никола Аморе, вокруг которого в хорошеньких глиняных кувшинчиках продавалась чудесная неаполитанская горная вода — «аква фреска» — по два сольдо за кувшинчик, запечатанный глиняной пробкой и покрытый матовой ледяной испариной. Приятно было очутиться на набережной в шумной толпе, среди менял, продавцов кораллов, аппетитной лапши на фанерной дощечке, среди босоногих неаполитанских мальчишек, грязных, как чертенята, которые совали в нос цветные открытки с видами Неаполя — «Карталино постале» — и выпрашивали все те же вечные два сольдо — «due soldo, signor, due soldo». Как неповторимо, удивительно по-итальянски выглядели на фоне яркого неба потертые фасады старых домов, выкрашенных палевой водяной краской с бледно-зелеными жалюзи окон, вы-

горевших на солнце, а если стена была глухая, то на ней были нарисованы точно такие же ложные окна! Пахло чесноком, рыбой, жаренной на вонючем оливковом масле, свежеразрезанными гранатами из Амальфи. Ленину все это, конечно, ужасно нравилось: чем-то напоминало волжские пристани. Но Помпея, куда повез Горький, опять-таки не произвела должного впечатления. Примерно в это же время Бунин написал: «...Помпея казалась мне скучней пустых могил, мертвей и чище нового музея». Дымящийся Везувий, несколько веретен кипарисов и большая, почти черная зонтичная пиния с плоской кроной на первом плане были действительно прекрасны, не могли не волновать, несмотря на свой несколько олеографический розово-голубой колорит.

Захотелось подойти к Везувию поближе. Поехали по железной дороге до Пулианы, оттуда — десять минут на фуникулере, а следующие десять минут пешком, пока вдруг не очутились, минуя седые от вулканического пепла виноградники, на самом краю кратера, откуда по каменистой почве тяжело полз молочно-бело-желтый сернистый дым и лизал пыльные сандалии Ленина.

Потом съездили в экипаже на могилу Виргилия. Здесь Ленина опять охватила прелесть простого, дикого, деревенского пейзажа, радость милой человеческой жизни, воспетой сельским италийским поэтом, ставшим впоследствии великим латинским писателем. Не могу удержаться, чтобы снова не вспомнить Бунина, одно из его самых прелестных стихотворений, опять-таки написанных примерно в те же годы у гробницы Виргилия. В этом стихотворении описы-

ваются дикий лавр, и плющ, и розы, дети, тряпки по дворам и коричневые козы в сорных травах по буграм... Все это — и коричневых коз, конечно,— видел Ленин, когда приехал с Горьким на могилу Виргилия. Видел он также с высокого неаполитанского берега без границы и без края моря вольные края... Обращаясь к Виргилию, Бунин воскликнул:

Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.

Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому — не все ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Виргилий,
Не моя и не твоя.

Обедали внизу, у самой воды, на набережной против отеля Санта-Лючия — съели лангусту,— а на другое утро, уезжая обратно во Францию, Ленин, быть может, и повторил ту фразу, которую Горький приводит в своих воспоминаниях о Ленине:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!

Следующей весной осуществилась мечта Ленина создать партийную школу для работников партийных организаций крупных пролетарских центров России. В ней обучалось восемнадцать рабочих-подпольщиков из Петербурга, Москвы, Сормова, Иваново-Воз-

несенска, из Екатеринославской губернии, Николаева, Баку, Тифлиса, Домбровского района в Польше и других городов. Это все были подлинные пролетарии, люди от станка, революционеры до мозга костей, цвет российского рабочего класса. Один из них рассказывал мне о духе строжайшей партийной дисциплины и конспирации, которые царили в этой ленинской школе. Ничего общего не было у слушателей этой школы с большинством парижской социал-демократической организации, в достаточной мере зараженной ликвидаторством, идеологией контрреволюционного либерализма и порядком уже разложившейся вследствие самого духа парижской жизни с его шумными кафе, где подчас с утра до вечера слышалась пустая болтовня. «Эмигрантщина и склока неразрывны,— писал в это время Ленин.— Но склока отпадет; склока остается на 9/10 за границей; склока это — аксессуар. А развитие партии, развитие с.-д. движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения».

Несмотря на эти дьявольские трудности, в ленинской партийной школе должны были готовиться рабочие революционные кадры для действия непосредственно на заводах и фабриках России, для подготовки новой революции, которая ни в коем случае не должна была повторить роковые ошибки пятого года. Школу решили организовать в деревне Лонжюмо, в 15 километрах от Парижа, в местности, где не жило никаких русских, никаких дачников. Короче говоря, школа была серьезно законспирирована. Лонжюмо представляло собой длинную французскую деревню, растянувшуюся вдоль шоссе, по которому каждую

ночь, мешая спать, ехали возы с продуктами, предназначенными для насыщения «чрева Парижа». Один из учеников школы Лонжюмо рассказывал мне, в какой строгости держали их. В порядке партийной дисциплины им было запрещено общаться с эмигрантской публикой, среди которой подчас орудовали шпики царского правительства и провокаторы, что впоследствии и подтвердилось. Когда я спросил, что из себя представляла в то время парижская эмиграция, попросил описать обстановку кафе, где она собиралась, залы, где происходили дискуссии и всевозможные рефераты, услышал в ответ:

— Мы ничего этого не знали. Нас от всего этого держали на пушечный выстрел. Конспирация была железная. Мы ни с кем не имели права знакомиться, и с нами тоже никто не знакомился, просто не имели понятия о нашем существовании. Общались мы исключительно с тем ограниченным кругом большевиков, которые имели прямое, непосредственное отношение к школе в Лонжюмо. Всего один или два раза были в Лувре, где Луначарский давал нам предметный урок эстетики. И это все. По окончании занятий в школе мы немедленно нелегально возвратились обратно в Россию на подпольную работу. Нас называли «ленинцами» или «агентами Ленина», и мы этим очень гордились и продолжаем гордиться до сих пор,— конечно, те, которым выпало счастье дожить до наших дней.

Считается, что ленинская школа в Лонжюмо была предшественницей будущих большевистских партийных школ и коммунистических университетов.

«Когда мы нанимали квартиры ученикам,— вспо-

минает Крупская,— мы говорили, что это русские сельские учителя... Больше всего французов удивляло, что наши «учителя» ходят сплошь и рядом босиком (жарища тем летом стояла невероятная)...»

Каждый раз, бывая в Париже, я непременно посещаю Лонжюмо. Пройтись по его непомерно длинной улице, посмотреть на маленький двухэтажный домик, каменный, почерневший от времени и от копоти местной кожевенной фабрики домик, в котором некогда жил Ленин, сделалось для меня потребностью. Я привык к Лонжюмо, и временами мне кажется, что я его хорошо знаю с детства, что я когда-то в нем жил. Но это иллюзия, удивительный феномен смещения времени — аберрация памяти, подобная аберрации зрения, о которой я уже несколько раз упоминал на этих страницах.

Впервые я приехал в Лонжюмо поздней осенью, несколько лет тому назад. Крупская называет Лонжюмо деревней, но я думаю, что это скорее всего маленький захолустный городок, невероятно длинно растянутый вдоль шоссе, идущего от Парижа на юг. Это шоссе и является в пределах Лонжюмо его главной и чуть ли не единственной улицей, состоящей из двух- и трехэтажных домиков, узких по фасаду, с магазинчиками, булочными, бакалейными, колбасными, зеленными, мясными, парикмахерскими с конским хвостом, табачными с красной сигарой и аптекой с зеленым крестом в первых этажах и с мансардами под графитными крышами, точно такими же, как в любом другом городе Франции и в любом парижском предместье. Эта главная улица Лонжюмо называется, разумеется, Grande rue, и в домике под номером 91

жил Ленин с Надеждой Константиновной. На темном фасаде, снизу до половины залитом вечной грязью из-под колес — как все фасады, выходящие вплотную на проезжую часть улиц,— я увидел небольшую мемориальную доску с профилем Ленина. Надпись гласила:

Icí a vècu et travaillé en 1911
V. I. Lenine
thèoricien et guide
du Mouvement communiste international,
fondateur de L'Union Soviétique

«Здесь жил и работал в 1911 г. В. И. Ленин — теоретик и вождь международного коммунистического движения, основатель Советского Союза». Невозможно было без волнения и гордости читать эти слова, полные такого громадного исторического значения и такого величия. Пройдя через узкий проход в стене, мы проникли в крошечный вонючий дворик, сырой и темный, с квадратиком пасмурного неба над головой. Затем мы поднялись по шаткой деревянной лестнице и очутились перед старой, захватанной руками дверью, которую отворила пожилая женщина в фартуке.

— Да, да, это здесь,— сказала она, не дожидаясь вопроса, закивала головой в чепчике и ввела нас в маленькую комнату, такую же темную и вонючую, как и все, что находилось в этом доме. Комната была заставлена двумя старыми деревянными кроватями, ножной швейной машиной — старомодной, неуклюжей,— столиком и креслом с продавленным сиденьем. Тут нас встретил старик хозяин, с опущенными усами, как у Кашена, в старом синем комбинезоне с цинковыми пряжками, нездорово-плотный, типичный пожилой

французский рабочий — слегка тугой на уши и не слишком радушный. Узнав, что мы советские люди, он молчаливо порылся в стенном шкапчике и поставил на стол начатый литр красного вина «Ординер» и четыре толстых стаканчика. Мы заговорили о Ленине.

— Это был великий человек,— сказал хозяин,— он жил у нас со своей женой, русской учительницей Крупской, вот в этой самой комнате, где мы сейчас находимся, и они спали на этих самых кроватях, и когда товарищ Ленин подходил к этому окну, то видел то же самое, что мы видим теперь: черную грязную стену и над ней кусочек французского неба, которое не всегда, конечно, бывает таким паршивым, как сегодня. Я хорошо помню товарища Ленина. Я называю его товарищем, потому что я так же, как и он,— мы оба принадлежим к партии коммунистов. Видите, товарищи, как скромно жил Ленин? Он был вождь мирового пролетариата, основатель Советского государства, а жил, как я, простой французский рабочий-кожевник. А ел, я вам скажу, даже хуже, чем ели мы. Довольно часто товарищ Крупская жарила на керосинке на обед картошку на подсолнечном масле, и Ленин запивал этот обед русским чаем. Vous savez ca!

Осмотр комнаты был быстро окончен, потому что, по правде говоря, осматривать было нечего. Это была скромность, граничащая с нищетой.

— Расскажи им про чулан,— сказала хозяйка, когда мы уже начали прощаться.

— Да! Чулан! — воскликнул хозяин.— Я чуть не забыл. В то время, когда у нас жил Ленин, к этой комнате примыкал чулан. Потом его заделали и заклеили

обоями: он портил вид. Но недавно нам снова понадобился чулан, и мы его открыли. И вы знаете, что мы в нем нашли? Шляпу Ленина!

— Да,— сказала хозяйка,— вообразите себе, старую шляпу Ленина!

— Черную велюровую шляпу,— прибавил хозяин,— с довольно широкими полями.

— Где же эта шляпа?— спросил я.

— Я сдал ее в районный комитет нашей партии. Они лучше меня сохранят эту реликвию.

Но лично я думаю, что эта шляпа вряд ли принадлежала Ленину. Он таких шляп, по-моему, не носил. Скорее всего, это была шляпа Зиновьева, который жил рядом с Лениным. Во всяком случае, на фотографиях Ленина вы такой шляпы не найдете. Впрочем, это совсем не важно. Я ничего не сказал о своих сомнениях старому рабочему, и мы дружески простились. Он жал нам руки и все время повторял:

— Ленин был великий человек. Он совершил то, чего не мог сделать до него никто. Робеспьер по сравнению с ним мальчик. Я счастлив, что знал его. Он жил у меня... Вот здесь... спал, ел, читал, писал... Это незабываемо. Передайте вашей стране, созданной его гением, привет и братство от старого французского рабочего-коммуниста.

На его глазах блестели слезы, все его морщинистое лицо с носом и щеками, побелевшими от старости, выражало чувство гордости тем, что он так близко знал Ленина. Его руки слегка дрожали. Больше я его уже не видел. Когда через год мы снова приехали в Лонжюмо и зашли сюда, в «ленинскую квартиру»,

старого хозяина уже не было в живых. Вытирая передником щеки, его жена впустила нас в осиротевшую квартиру, показавшуюся нам еще более темной, тесной, запущенной. Она подняла морщинистые руки ладонями вверх и сказала:

— Voilà tout! Вот и все.

В застоявшемся воздухе слышался запах лекарств. Швейной машины не было. Видно, недешево обошлась этому дому смерть хозяина. Я поцеловал старую, жесткую руку хозяйки. Молчаливо мы вышли на улицу.

Сама школа находилась в противоположном конце Гранд рю, в доме номер 17. Нужно было войти в ворота и пересечь внутренний дворик, хорошо убранный, чистенький, с вьющимися растениями и клумбочками, замощенный светло-желтой щебенкой, отчего он казался во всякую погоду как бы освещенным солнцем. Видимо, владение принадлежало зажиточному хозяину. Во Франции не очень-то принято без спросу заходить в чужие дворы. Мы уже собирались позвонить в дверь небольшого флигелька, увитого плющом и отцветающими розами, как зеленая дверь отворилась и к нам вышел хозяин. Он был тоже, как и хозяин ленинской квартиры, в синем комбинезоне, простроченном по швам в два ряда крепкими белыми нитками, рукава его сорочки были засучены по локоть; лицо выражало строгость, сознание собственного достоинства и в то же время какую-то сухую, сдержанную любезность, которая в любую минуту могла перейти в раздражение. Мы представились и попросили его разрешить осмотреть помещение, где некогда находилась ленинская школа. Он терпеливо выслушал нас, а

затем, не говоря ни слова, повел в конец двора и пригласил войти в довольно большое запущенное помещение, имевшее также выход и на другую улицу. Это был не то сарай, не то какая-то мастерская, давно уже пустующая.

— Это здесь,— сказал он.— Когда-то давно, еще до моего рождения, в нашем дворе находилась стоянка дилижансов, а помещение, где вы находитесь в данное время, являлось не чем иным, как местом, где отдыхали кучера дилижансов. Здесь также могли подковать лошадь и произвести небольшой ремонт дилижансов или тележек, в которых местные фермеры возили масло на центральный парижский рынок. Видите, от тех времен здесь сохранился небольшой кузнечный горн. Вот он. Им еще иногда пользуются. Но редко.

Мы осмотрели старый, почерневший горн, источавший слабый угарный запах каменноугольного дыма. Ржавые железные обручи висели на кирпичной выбеленной стене. Таково было единственное классное помещение ленинской школы в Лонжюмо.

— Где же сидели ученики? — спросил я.

— Не помню, — ответил хозяин. — Я был тогда слишком мал. Где-то сидели. Я смутно помню, что они где-то сидели. Вероятно, на скамьях, которые тогда здесь стояли. Я помню, что некоторые из них что-то записывали в тетради.

— А преподаватели?

— Кажется, преподаватель сидел за столиком на плетеном стуле, который каждый раз брал у нас в кухне. Это я хорошо помню.

— А вы помните Ленина?

— Не могу этого утверждать. Я был слишком мал. Я думаю, их было несколько — преподавателей. Среди них даже была женщина. Дама. Даму я запомнил. Впрочем, может быть, женщин было две или три. Одну из них я особенно запомнил. У нее была французская фамилия. Мадам была не красива, но очаровательна: великолепные каштановые волосы и черные красивые глаза. Я был совсем маленьким мальчиком, но я до сих пор помню эти прелестные, теплые глаза. Она была настоящая француженка. От нее пахло хорошими духами. Я думаю, это были духи «Вэра Виолетт» фабрики Пивераили или что-нибудь в этом роде, цветочные духи, а не абстрактные, как теперь. Она была чем-то вроде инспектора классов.

— Инесса Арманд? — спросил я.

— Не знаю. Я только помню, как она приносила расписание уроков и отмечала в списке опоздавших. Иногда она делала им замечание, что явились босиком. Это было очень смешно — целый ряд босых ног.

— Но неужели вы не помните Ленина?

— Месье, я сам рабочий, социалист. Но я не принадлежу к партии коммунистов. И я не разделяю доктрину Ленина. Я ее считаю в лучшем случае бесполезной. Во всяком случае, для французов. Для русских она, может быть, и годится. Для славян, для поляков — может быть. Но я не могу не считаться с фактом существования Ленина, и я даже вполне думаю, что он был выдающимся человеком. Поэтому я охотно пускаю сюда посетителей. Но лично мне совершенно безразлично, была ли здесь когда-нибудь школа или не была. Прошу вас, осматривайте! Я не буду вам мешать. Я уважаю чужие убеждения.

Но больше осматривать было нечего.

— И много у вас здесь бывает посетителей? — спросил я.

— Не слишком много,— ответил он.— Но и не очень мало. Почти каждый день кто-нибудь наведывается из Парижа. Все больше иностранцы, славяне. Но, конечно, бывают и французы: студенты, рабочие...

Вдруг его лицо оживилось.

— До войны сюда приезжал один ваш знаменитый советский авиатор. Красивый человек с широкими плечами, в очень хорошем костюме. Войдя сюда, он снял свою фетровую шляпу — в знак уважения к этому месту. И долго стоял молча. Этот русский большевик мне, признаться, очень понравился. Вы, наверное, его хорошо знаете. Его имя трудно для произношения: месье Чкалов,— с усилием произнес он.

— Так здесь был Чкалов! — воскликнул я.

— Да. И он, так же как и вы, расспрашивал меня о Ленине и о его школе, но я ничего не мог ему сказать интересного, потому что я не политик, хотя и читаю «Либерасьон». «Либерасьон», конечно, не «Юманите», но все-таки... Для меня она достаточно левая. До свиданья, месье. Рад был оказать вам услугу, хотя, по правде сказать, меня утомляют эти постоянные посещения. À bientôt!

Он скрылся в своем домике, как бы втянулся в него, как улитка в свою хорошенькую раковину, а я еще некоторое время стоял возле старого горна, представляя себе лето 1911 года, невероятную жарищу и Ленина без пиджака, в рубашке «апаш», с открытой шеей, который, вытирая мокрую лысину носовым платком, входил в единственный класс своей партийной шко-

лы, садился за столик на кухонный стул и клал перед собой маленькие исписанные листочки — план лекции.

Мы знаем, каков был Ленин на трибуне. Об этом много написано. «Никакого оратора не слушали так, как Ленина,— пишет, например, М. Эссен.— Впервые я увидела его на трибуне в 1904 году в Женеве, когда он делал доклад о Парижской коммуне. Ленин на трибуне весь преображался. Какой-то весь ладный, подобранный, точно сделанный из одного куска. Вся сила сосредоточена в голосе, в сверкающих глазах, в чеканной стальной фразе... Мне приводилось тогда слышать очень крупных ораторов, которые говорят точно для того, чтобы поразить слушателей, блеснуть яркой фразой, остроумной шуткой, умеют использовать силу и гибкость голоса, плавный жест, красивую позу. Таковы были Плеханов, Жорес, Вандервельде, считавшиеся мировыми ораторами. В их выступлениях было много эффектного, но мне никогда не удавалось отрешиться от впечатления какой-то искусственности их речей... Не то Ленин. Непередаваема сила его речей. В них нет как будто никакого внешнего блеска, они просты и ясны, но, слушая Ленина, забываешь обо всем. Он овладевает слушателем всецело. И тут разница между Лениным и Плехановым разительна... Плеханов любил красиво отточенные фразы. Он знал цену своему таланту, знал, когда повысить и понизить голос, умел вовремя блеснуть остроумием, поднять утомленное внимание аудитории кстати рассказанным анекдотом. Но его слушали спокойно, он волновался в меру... У Ленина нет этого внешнего блеска, он не

оттачивает фразы, но тем не менее именно его слушают... так, точно он раскрывает твои самые сокровенные мысли, заветные мечты. Другие ораторы восхищают, но слушаешь их точно со стороны,— Ленин зовет к действию. Его речи зажигают энтузиазмом и желанием действовать. Речи Ленина нельзя забыть: все чувствуют, что он сказал самое важное и нужное... Ленин говорил о Коммуне, и мы ощутили ее могучее дыхание, ее пафос, ее трагедию, ее мировое значение. Парижская коммуна встала перед нами, как сверкающая заря новой жизни, как первый опыт рабочих взять власть в свои руки. Мы мысленно видели осажденный Париж, трусость и предательство господствующих классов, продажное правительство, сбежавшее в Версаль и предавшее родину, мы увидели героический рабочий класс, взявший на себя защиту отечества и задачу построения государства на новых началах. Ленин показал все трудности выполнения этих задач, вскрыл все противоречия, ошибки Коммуны, рассказал о ее гибели... Я до сих пор помню и эту речь, и тот энтузиазм, какой она вызвала. Из всей речи Ленина, такой вдохновенной и огненной, стало ясно, что Парижская коммуна — не только героический эпизод истории, показывающий силу и мощь рабочего класса, но и вдохновляющий пример для нас... С собрания возвращались небольшой компанией, все были радостно возбуждены. Я спросила Ленина:

— Неужели мы доживем до того времени, когда Коммуна снова встанет в порядок дня?

Ленин встрепенулся.

— А вы сделали такой вывод из моего доклада?! — спросил он.

— Да, и не одна я, а все, кто слушал вас сегодня».

«Слушать Ленина на собраниях, видеть его за работой, углубленного в книги, или за разрешением политических вопросов, слушать его планы поражения противников, его уничтожающие характеристики — все это давало яркую картину его многогранности...»

Отличная характеристика Ленина-трибуна, полемиста, политического оратора, «вдохновенного и огненного». Но до сих пор, кажется, нигде еще не написано о Ленине — не лекторе, не политическом ораторе, не революционном трибуне, а о Ленине-учителе. Учителе не в высоком, философском значении, а об учителе-преподавателе. В Лонжюмо Ленин был учителем в самом прямом, бытовом смысле этого слова. Он не только «читал лекции», но и просто «давал уроки», как это делается в народных школах и гимназиях, хотя эти уроки и назывались лекциями.

Занятия в партийной школе Лонжюмо происходили очень регулярно. Владимир Ильич был загружен больше всех преподавателей: 29 лекций по политической экономии, 12 — по аграрному вопросу, 12 — по теории и практике социализма в России. Семинарскую работу по политической экономии вела Инесса Арманд.

Надежда Константиновна Крупская говорила мне, что лекции Ленина больше всего напоминали самый обыкновенный школьный урок, и Ленин был в это время не вождь, не трибун, даже не профессор, а простой русский учитель, старающийся как можно яснее и доходчивее растолковать свой предмет взрослым уче-

никам. Он объяснял, спрашивал с места, заставлял иногда повторить только что сказанное им, сердито стучал карандашом по столу, если замечал, что кто-нибудь невнимателен.

...Представляю себе Ленина, как он сидел, сгорбившись, и слегка покачивался на кухонном стуле с плетеным сиденьем, поджимая под себя крепкую ногу, иногда вставал и ходил перед учениками взад-вперед, разминаясь и тревожно поглядывая на босые ноги некоторых своих взрослых учеников.

— Присягин, повторите, что я только что сказал?

— Вы сказали, Владимир Ильич, что старые экономисты, обманывая себя и других, любили ссылаться на Бельгию. А новоэкономисты, то есть ликвидаторы, любят ссылаться на мирное получение конституции Австрией...

— В каком году?

— В 1867-м.

— Хорошо! — одобрительно кивнул Ленин.— Но что же из этого следует?

— Из этого следует, что и старые экономисты и наши ликвидаторы выбирают такие примеры, случаи, эпизоды из истории рабочего движения и демократии в Европе, когда рабочие бывали в силу тех или иных причин слабы, бессознательны, зависимы от буржуазии, и подобные примеры выставляют как пример для России.

— Хорошо,— еще более одобрительно кивнул Ленин.— Какой же вывод мы должны сделать для себя как для партийных работников, большевиков, подлинных революционеров?

— Должны сделать тот вывод, что и экономисты и ликвидаторы есть проводники буржуазного влияния на пролетариат. Верно, Владимир Ильич?

— Абсолютно так. Прекрасно, товарищ Присягин. Запомните же это все и никогда и ни при каких обстоятельствах во время вашей практической революционной работы в России не поддавайтесь этому гнилому буржуазному влиянию, ибо оно может привести к гибели все наше дело. Садитесь, пожалуйста, Присягин. (Ленин с улыбкой произнес эту старорежимную, какую-то унтер-офицерскую фамилию.) Пойдем дальше.— И Ленин, поставив в записную книжку против фамилии Присягина птичку своим тоненьким карандашиком, перешел к столыпинской реакции.

Крупская пишет, что Ильич был очень доволен работой школы. «В свободное время ездили мы с ним по обыкновению на велосипедах, поднимались на гору и ехали километров за пятнадцать, там был аэродром. Заброшенный вглубь, он был гораздо менее посещаем, чем аэродром Жювизи. Мы были часто единственными зрителями, и Ильич мог вволю любоваться маневрами аэропланов».

Ленина привлекало все новое, небывалое, революционное. Как раз недавно в мире произошла техническая революция, открывшая для человечества новую эру: люди научились летать на аппаратах тяжелее воздуха. Это еще были пока лишь первые попытки, но они уже не казались робкими. Каждый день приносил новые победы. Уже на весь мир прогремело имя фран-

цузского авиатора Луи Блерио, перелетевшего на своем аппарате через Ла-Манш из Кале в Дувр—расстояние свыше тридцати километров по воздуху, над бурным проливом, что казалось тогда прямо-таки невероятным, во всяком случае, гораздо большим чудом, чем чудо Христа, согласно легенде, прошедшего пешком по воде Генисаретского озера. Авиационная лихорадка охватила весь мир, в особенности Францию. Под Парижем, в Исси-ле-Мулино, устраивались шумные, напоминающие карнавал авиационные недели, где демонстрировались последние модели аэропланов. В Мурмелоне состоялись международные гонки аэропланов. Туда съехались богачи со всего земного шара. Названия аэродромов «Ле Бурже», «Исси-ле-Мулино», «Жювизи» прогремели на весь мир и бесчисленное количество раз повторялись в газетных отчетах и агентских телеграммах. Любимым развлечением парижан стало ездить «на полеты».

Пользуясь малейшей возможностью, «Ильичи» садились на свои видавшие виды велосипеды и отправлялись «на полеты».

Как здесь уже упоминалось, Ленину ужасно не везло с велосипедом. Во время одной из поездок «на полеты» — в Жювизи — Ленин попал под автомобиль, сам по счастливой случайности уцелел, но велосипед его превратился в груду обломков. Марсель Кашен с восхищением и чудесным юмором рассказывал мне слышанную им историю о том, как Ленин после ава-

рии, отряхнувшись от пыли и обмахнув носовым платком ботинки, искоса посмотрел своими живыми, темно-карими глазами на жалкие остатки велосипеда и будто бы сказал, обращаясь к Крупской:

— Видишь, Надя: от одного толчка извне велосипед превратился в свою противоположность, полностью сохранив количество своей материи. Качество в один миг перешло в количество. Теперь это уже не велосипед, а нечто совсем другое. Качество «велосипед» перешло в количество — «стальной лом».

— Товарищ Ленин,— заметил Кашен, поглаживая свои характерные усы,— никогда не пропускал случая на реальном примере показать непреложность законов диалектического материализма. Он был одновременно и практик и теоретик, кроме того, обладал настоящим высоким юмором, без чего нельзя себе представить истинно великого человека.

...Ленин и Крупская сели на велосипеды и поехали по длиннейшей и скучнейшей Гранд рю Лонжюмо, мимо церкви с вечным петушком над крестом колокольни, где музыкально перезванивали жиденькие воскресные колокола, возвещая Анжелюс, мимо крошечной чистенькой площади, окруженной официальными зданиями времен Империи: полицией, судом и мэрией с трехцветным флагом над фронтоном ампир. Площадь была окружена маленькими, очень коротко остриженными тополями с узловатыми ветками, а посредине стоял крошечный провинциальный памятник, воздвигнутый жителями Лонжюмо своему знаменитому гражданину, какому-то малоизвестному драматур-

гу Адольфу Адаму, автору пьесы «Кучер почтового дилижанса». Цоколь памятника был украшен лирой и пальмовой веткой. Проезжая мимо него, Ленин и Крупская переглянулись и засмеялись: было действительно курьезно, что на местном постоялом дворе, где, по-видимому, разыгрывалось действие знаменитой пьесы Адольфа Адама, теперь разместилась русская партийная школа социал-демократов-большевиков. Времена меняются!

Они проехали по мостику над речкой с мопассановским названием Иветта, над неподвижной, заросшей камышами водой, на которой листья водяных лилий лежали как палитры. В воде отражались глухие каменные стены домов, старая водяная мельница и задние дворы главной улицы, а дальше виднелись зелено-голубые, туманные луга, и барбизонские рощи, и мутные июльские дали, изнемогающие от полуденного зноя. Улица была пустынна. Все население, видимо, находилось в церкви, откуда долетали грозовые звуки органа. Наконец выехали из Лонжюмо на простор, в поле, и помчались в облаке горячей пыли по проселку между двух стен поспевшей пшеницы, в чаще которой кое-где на декадентских стеблях ярко алели атласные чашечки дикого мака с черными газовыми пятнами сердцевины. Иногда попадались родные русские васильки, которые здесь, во Франции, напоминали маленькие голубые иностранные ордена. В небе заливались жаворонки. Тоже родные, русские. Стало весело. «Ильичи» припустили. Впереди мчался Владимир Ильич, как машина работая своими крепкими ногами, за ним с трудом поспевала Надежда Константиновна в шляпке, сбитой ветром набок, в ста-

рых ботинках, с юбкой, зажатой между колен, чтобы не попадала в передачу. Они одним духом отмахали пятнадцать километров среди полей и рощиц — для них это были сущие пустяки — и наконец очутились на большом лугу глухого, отдаленного аэродромчика.

Полеты уже начались. Один аэроплан выводили из дощатого ангара, а другой уже находился в воздухе над острой колокольней сельской церкви, скрытой за холмом, так что виднелся только ее шпиль с крестом и петушком. Ленин пристально посмотрел на аэроплан, прикрыл глаза ладонью от солнца.

— Мы очень удачно попали. Это «Фарман-4». Посмотри, Надя, как он устойчиво держится в воздухе. А? Это тебе не какой-нибудь Вуазен!

Аэроплан сделал крутой вираж и выровнялся. Вслед за тем слабенький, стрекозиный треск мотора прекратился. Мотор еще несколько раз чихнул и окончательно смолк. Наступила зловещая тишина.

— Падает! — слабо ахнула Крупская.

— Нет, нет, не волнуйся. Все в порядке. Смотри: сейчас авиатор будет делать планирующий спуск, так называемый «воль планэ».

Теперь биплан довольно высоко и, казалось, неподвижно висел над парком замка, повернутый фасом, так что обе его плоскости — верхняя длиннее, нижняя короче — с фигуркой авиатора между ними и с бензиновым медным баком, в начищенной поверхности которого желтой звездочкой отражалось солнце, отчетливо, во всех подробностях, рисовались на фоне летнего неба с несколькими белыми облаками, такими

самыми, как где-нибудь в Шушенском или Уфе. Быстро увеличиваясь, аэроплан, как на салазках с высокой горы, поехал круто вниз, пролетел так низко, что едва не задел колесами шляпку Надежды Константиновны, и, обдав ветром и шумом крутящегося по инерции пропеллера, коснулся луга и тотчас покатился, слегка подскакивая на своих велосипедных колесах по цветущему клеверу.

— Чудесно! — воскликнула Крупская.

— Каково мастерство! — воскликнул Ленин.— Ты обратила внимание, как он перед самой землей выровнял машину? А как великолепно сел? Изумительно! Но самое главное: кто бы мог подумать, что человек в такой короткий исторический срок научится летать? Летающий человек. Гм, гм... Это — принципиально новое качество человека. Правда, пока летают только избранные и аэропланы принадлежат богатым людям. Но когда пролетариат экспроприирует у капиталистов летательные аппараты и сделается хозяином не только земли, но и воздуха, тогда ого-го! Только держитесь, господа капиталисты!

И тотчас Ленин вернулся к мыслям о судьбе Парижской коммуны, которые неотступно преследовали его. «Еще не известно, — подумал он, — как бы обернулось дело Парижской коммуны, если бы у парижских рабочих было в руках такое средство, как современная авиация. А то баллоны! На баллонах далеко не улетишь».

— Десяток-другой таких вот «Фарманов» пустить на Версаль, — сказал он. — Да начать сверху бомбардировку. Как ты думаешь, Надя? Эх, не было у нас в руках в пятом году летательных аппаратов тяжелее

воздуха. Мы бы не допустили разгрома Пресни и всыпали бы по первое число господину Дубасову!

Пока опустившийся «Фарман-4» уводили в ангар и возились с другим аэропланом, пробуя капризничающий мотор, Ленин и Крупская положили свои велосипеды на траву, а сами сели на разостланные носовые платки. Ленин посмотрел на часы и, увидев, что стрелка показывает час, заметил, что пора завтракать. Крупская извлекла из велосипедной сумочки просалившийся сверток с двумя сдобными рогаликами — круассанами, а Ленин вынул из бокового кармана две плитки молочного швейцарского шоколада «Сюшар» в сиреневой глянцевитой обертке с головой сенбернарской собаки с бочоночком на ошейнике. Это был их любимый завтрак во время вылазок за город. Старая швейцарская привычка. «Дешево и сердито»,— как любила говорить Надежда Константиновна. Тем временем приготовили для полета второй аэроплан. Вокруг него ходило несколько человек, одетых в элегантные полуспортивные костюмы. Среди них был один маленький, черненький, в синем замасленном комбинезоне, с гаечным ключом в руке — механик, а другой — в желтых кожаных крагах и в клетчатой кепке, повернутой козырьком на затылок, с великолепными нафиксатуаренными усами и римским носом с чуть заметной галльской горбинкой — сам авиатор. Он ходил вокруг своего аппарата, время от времени пробуя, хорошо ли натянуты тонкие стальные тросы креплений, и поглаживал покрытую особым лаком поверхность несущих плоскостей, сделанных из натянутого тончайшего желтоватого полотна с темными пятнами касторового масла, покрытыми пылью.

Крылья приходились по грудь авиатору. Это был моноплан с пропеллером впереди. Ленин с живым любопытством рассматривал маленький звездообразный, пластинчатый мотор, вращающийся вместе с пропеллером.

— По-моему, это мотор «Гном», — сказала Крупская, рассматривая аэроплан в маленький театральный бинокль, взятый у матери.

— «Гном-Рон», — уточнил Ленин. — Шестьдесят лошадиных сил. Они его поставили на Блерио. Это что-то новое.

— Контакт! — крикнул маленький моторист.

— Есть контакт! — ответил сурово авиатор.

«Гном-Рон» зафыркал, зачихал и стал быстро крутиться вместе с поблескивающим лакированным пропеллером с разноцветной фабричной маркой. Ветер побежал по лугу, прижимая к земле цветы и травы. Теперь авиатор сидел на своем месте, опустив на глаза полумаску больших очков, и пробовал контакт, а трое господ и моторист держали аэроплан за хвост, чтобы он не улетел раньше времени. Один из господ, по-видимому собственник аэроплана, был в серой визитке и сером твердом котелке. Ветер сорвал с его головы котелок и покатил по траве. Мелькая серыми элегантными гетрами и полосатыми брюками, господин побежал за котелком, пытаясь его поймать ручкой бамбуковой трости, и наконец поймал. Ветер трепал на его лысой голове черную ленту крашеных волос. Авиатор встал во весь рост и повернулся назад.

Он сделал несколько театральный жест рукой в кожаной перчатке, приказывая отпустить аэроплан, поправил свои страшные квадратные очки, поудобнее

уселся на плетеное сиденье и привязался ремнями. Мотор закружился изо всех сил, как поющий волчок. Господа, придерживая головные уборы, бросились врассыпную, маленький моторист некоторое время бежал рядом с аэропланом, давая последние наставления, и посылал воздушные поцелуи авиатору.

— Bonne chance! Счастливого полета!

— Merci, mon ami!

Аэроплан вырулил на прямую. Ленин вскочил с травы и побежал к тому месту, где, по его расчету, аэроплан должен был оторваться от земли. Если сам по себе полет к тому времени уже перестал казаться чудом, то самый взлет, тот сокровенный миг, когда между бегущим колесом аппарата и поверхностью земли вдруг оказывался еле заметный просвет, все еще продолжал восхищать, как волшебство, к которому существу земному не так-то легко было привыкнуть.

Ленин стремительно пробежал метров сто и совсем по-мальчишески упал животом в траву, измеряя живым и острым глазом пространство.

— Надя, сюда! Здесь он оторвется от земли. Скорее, не упусти момент!

Крупская прибежала, шумя юбкой, и легла рядом с мужем, не выпуская из рук крошечный бинокль. Жужжа мотором, моноплан бежал по лугу, приближаясь сбоку к «Ильичам».

— Наедет на нас,— прошептала Крупская.

— Не наедет,— уверенно сказал Ленин.

Теперь уже аэроплан бежал совсем близко мимо них. Прижавшись к земле и вытянув шеи, они видели велосипедные колеса с новенькими шинами, бегущие по траве. Они слегка подскакивали. Аэроплан порав-

нялся с Лениным и Крупской. Колеса слегка подпрыгнули и уже не сразу опустились, как бы повиснув в воздухе на высоте каких-нибудь двух дюймов от земли, но все-таки опять коснулись луга, затем снова подпрыгнули и уже на этот раз не возвратились на землю, хотя и находились над ней совсем низко.

— Бежит, но еще не летит; затем бежит, но в то же время и летит; потом летит, хотя в то же время и продолжает бежать; и наконец... стоп! Критическая точка... летит и уже не бежит. Количество перешло в качество. Смотри, Надя: летит! — радостно закричал Ленин, провожая оживленно блестящими глазами удаляющийся моноплан, между колесами которого и землей аэродрома уже виднелся широкий просвет и на горизонте гобеленово-синий парк с графитными крышами замка над дымчатыми купами деревьев.

Почему я так ясно представляю себе этот пейзаж, типичный для Иль де Франс лета 1911 года: знойный ветерок, шелковый блеск клеверного поля, брошенные в траву сиреневые обертки швейцарского шоколада «Сюшар», серебряные бумажки, до рези в глазах блестящие на солнце, аэроплан, косо повисший над дальней колокольней, его полупрозрачные желтые крылья с полосатыми, ребристыми тенями, напоминающими рентгеновский снимок? Почему я так ясно слышу и теперь стрекозиный треск слабенького «Гнома», чувствую запах касторки, пыли, бензина? Почему мне так приятно об этом писать? Вероятно, потому, что ведь и я сам, в то время четырнадцатилетний мальчик, увлекался полетами и, затаив дыхание, лежал в полыни, ловя тот сокровенный миг, когда на глазах соверша-

лось волшебство полета, превращение тела, бегущего по земле, в тело, летящее по воздуху. Только это было не под Парижем, а под Одессой, на стрельбищном поле, где в то время тоже почти ежедневно происходили полеты.

В степи были выстроены новенькие ангары, из их широких ворот выводили аэропланы, вокруг суетились господа в парижских полуспортивных костюмах, в серых визитках, в цилиндрах, как у Макса Линдера, в светлых гетрах на пуговицах, ни дать ни взять как под Парижем, где-нибудь в ле Бурже или Исси-ле-Мулино, с той лишь разницей, что господа были местные, одесские богачи, банкиры, промышленники — Анатра, Ксидиас, барон Рено. Что касается самих авиаторов, то они были хорошо известные всем нам, одесским мальчикам, местные знаменитости, кумиры Пересыпи и Молдаванки — парикмахер Хиони, рабочий Костин, портовый грузчик Ефимов, гонщик-велосипедист Сережа Уточкин — люди простые, большей частью жители рабочих окраин, летавшие на чужих аэропланах, зарабатывая себе этим на хлеб насущный.

Так же как и под Парижем, в одесском летнем небе стрекотал слабенький мотор «Гном-Рон», и совсем низко над землей, за мачтами роты искрового телеграфа, почти по кромке стрельбищного поля со старыми мишенями и мешками, набитыми песком, медленно летел аэроплан, казавшийся мне в то далекое время улучшенным и более конструктивным вариантом какого-то искусственного насекомого, вроде обыкновенной стрекозы. Хотя с тех пор прошло больше пятидесяти лет, но и теперь всякий раз, когда я подъезжаю к Парижу и слышу слова «Ле Бурже» или «Орли», в моем

воображении возникают картины первых лет авиации, и я со стереоскопической точностью представляю себе на месте ультрасовременного, громадного, белого международного аэровокзала, откуда можно за час долететь до Рима и за шесть часов до Нью-Йорка, маленький захолустный аэродромчик с полотняными ангарами, летний полдень и лежащего в траве Ленина, ловящего прищуренными глазами тот качественный скачок, когда бегущее тело превращается в тело летящее. И в воздухе не шелестящий, почти космический свист реактивных двигателей межконтинентальных лайнеров, а слабое стрекотание маленького самодельного мотора.

Ужасно захотелось снова увидеть аэропланы моего детства, все эти летательные аппараты тяжелее воздуха, которыми некогда так увлекался Ленин. Нетрудно было достать их фотографии, посмотреть на них в старой кинохронике, но я мечтал увидеть их в подлиннике: те же самые, которые я видел тогда, потрогать их руками. Моя мечта казалась мне несбыточной. Вряд ли от них, от этих первых аэропланов, что-нибудь осталось, ведь они были так непрочны: дерево, тонкое, пропитанное лаком полотно, проволока... Трудно было представить, что все эти материалы могли сохраниться в течение полустолетия, тем более что за это время мир потрясали войны и революции, на Париж падали бомбы, бушевали пожары. Я никак не предполагал, что где-нибудь могут сохраниться хрупкие летательные аппараты начала века. И вдруг оказалось, что в Париже есть музей, где хранятся аэропланы того времени, не копии и не макеты, а те самые

аппараты, на эволюцию которых, несомненно, любовался Ленин. Было не так-то легко отыскать этот музей, который не значился в путеводителях, тем более что нет людей менее любознательных, чем парижане, в особенности если дело касается какой-нибудь достопримечательности Парижа. Вам непременно ответят: не знаю, это, наверное, где-то в другом аррондисмане.

Мы всюду разыскивали этот музей. Побывали в Исси-ле-Мулино, где, как нас уверяли, по всей вероятности, и находится эта достопримечательность. Мы даже вошли в указанное нам здание, но оно оказалось пустым. Совершенно пустым. Это было как во сне, когда ты кого-то догоняешь, а он странным образом ускользает у тебя из рук и медленно удаляется, не оглядываясь и не показывая своего лица, а ты, задыхаясь, бежишь за ним и громко окликаешь его, но он не слышит, как будто между тобой и им непроницаемая, но совершенно прозрачная стена. Мы блуждали по пустым залам, по зашарпанным старым паркетам, наступая на какие-то шпагаты, бумажные обрывки, гвозди. Мы заглядывали за фанерные перегородки, делавшие это помещение чем-то похожим на советское учреждение двадцатых годов, и мне все время казалось, что вот-вот я вдруг открою еще какую-то, самую главную дверь и вдруг увижу «Фарман-4» или «Блерио» моего детства. Напрасно. Наконец нам встретилась старая толстуха в пенсне с розовым поролоновым ведром и синтетической щеткой в руках — типичная парижская уборщица. Она сказала, что мы опоздали: здесь действительно еще на прошлой неделе были выставлены старые аэропланы, но потом их куда-то увезли. Музей переехал. Куда? «Не могу вам точно сказать. По-мое-

му, куда-то в Медон-Вальфлери. А может быть, и не туда.— Она задумалась.— Нет, туда. Теперь я вспомнила: именно туда. В Медон-Вальфлери. Их забрало военно-воздушное ведомство. У него там целое поместье. Аэродинамическая труба и все такое. Если вам непременно нужно видеть эти старые аэропланы, то поезжайте туда. Но я не понимаю, кому они нужны? А там спросите у кого-нибудь, где поместье военно-воздушного ведомства. Вам кто-нибудь из местных граждан скажет. Это уж наверное. Местные жители хорошо знают такие вещи».

Медон-Вальфлери. Военное ведомство. Аэродинамическая труба. Расспросы населения. Государственная тайна. Это показалось нам слишком сложно и даже, быть может, опасно. Благоразумнее было отказаться от столь рискованного предприятия. Но мною уже овладело непреодолимое желание увидеть «те самые аэропланы». У меня не было сил бороться с этим желанием, напоминающим нечто вроде навязчивой идеи, настоящего безумия. Мы поскорее отправились на площадь Инвалидов, спустились в подземный вокзал и оттуда на электрическом поезде поехали в сторону Версаля. Сначала поезд мчался под землей, потом выскочил на поверхность, и некоторое время за окном, мешая видеть пейзаж, бежали высокие парапеты Сены, переплеты мостов, эстакады, виадуки, фабричные стены с саженными буквами надписей и длинные крыши цехов с вентиляционными трубами. Но потом все это ушло куда-то вниз по диагонали, и сквозь солнечный туман поздней осени мы увидели

мутную панораму Парижа, Сену, мосты, Эйфелеву башню, Монмартр с белым куполом Сакре-Кёр, возвышенности Пер-Лашеза и Монт-Валерьена. Поезд огибал Париж по окраинам среди старых и новых домов, трущоб, газгольдеров, пустырей, заваленных автомобильным ломом. Именно по этой самой железнодорожной ветке Париж — Версаль в 1871 году ходили бронепоезда коммунаров с головастыми паровозиками, обстреливая позиции версальцев, и мне даже казалось, что я вижу языки орудийных выстрелов и разрывы снарядов на синих высотах Монт-Валерьен. Не доезжая Версаля, мы сошли на станции Медон-Вальфлери. Здесь черное железнодорожное полотно было врезано глубоко между двух крутых откосов и дальше уходило в каменную подкову туннеля. Мы поднялись по лестнице и очутились в маленьком дачном городке, пустынном в этот грустный час нераннего утра. Слабое солнце золотило туман, и влажный воздух был не холоден, не тепел, а так, комнатной температуры: можно ходить без пальто, но в шерстяном костюме и пуловере. У вокзала находились лавки и магазинчики, аптека, кафе, бюро по продаже недвижимого имущества с витриной, сплошь залепленной разноцветными билетиками — объявлениями о продаже домов и земельных участков, доктор, адвокат, контора нотариуса и все прочее, необходимое для нормальной жизни обитателей этого тихого уголка, в полной неприкосновенности сохранившегося с девятнадцатого, если не с восемнадцатого века. Несколько пустынных каменистых переулков шли в гору, а вдоль хорошо утрамбованных щебеночных тротуаров тянулись железные и каменные ограды маленьких, хорошеньких коттед-

жей и вилл с массой хризантем в палисадниках. Запах влажного, глубоко вскопанного чернозема, смешанный с запахом первых дней листопада и тончайшим похоронным ароматом хризантем — белых, сиреневых, сизых, желтых, тигровых, коричневых, щекотал ноздри и придавал особую грустную остроту свежему загородному воздуху. Где-то впереди и вверху слышался таинственный гул аэродинамической трубы, и мы шли по направлению гула, поднимаясь вверх, в то время как из большого открытого окна каждого коттеджа за нашим восхождением молчаливо наблюдали местные прислуги в передниках, с тростниковыми выбивалками в руках, в большинстве жирные и недоброжелательные, с энергичными лицами пожилых провинциальных сплетниц, строгих блюстительниц нравственности.

— Лучше вернемся,— сказала негромко жена, ежась под огнем подозрительных глаз, влажных, как свежие черносливы.

— Вперед! — скомандовал я.

Мы навели справку у прохожего, верно ли мы идем. Прохожий был, кроме нас, единственным человеком на всей улице, бодрый старик без пальто и шляпы, в темно-сером шерстяном костюме, черных ботинках и в легком шарфе, с особенным, чисто парижским щегольством заправленном под застегнутый на все пуговицы пиджак с крошечной, как булавочная головка, розеткой Почетного легиона. Он гордо держал свою сухую горбоносую голову с полуседыми серебряными волосами и нес под мышкой целую оглоблю свежего, поджаристого французского хлеба, так называемого «багет», а может быть, и «фантази».

— Вы идете правильно. Это там,— сказал он, показывая оглоблей хлеба в конец улицы, откуда продолжал доноситься тревожно-напряженный гул аэродинамической трубы. Затем он объяснил, что мы должны войти в ворота и получить в бюро пропусков специальное разрешение.— Но это простая формальность,— успокоил он нас, заметив беспокойство моей жены.

Он слегка поклонился и, открыв ключом ажурную калитку, скрылся в своем садике, поскрипывая безупречными ботинками по несимметричным плитам дорожки, между которыми зеленела газонная травка.

— Умоляю, вернемся! — взмолилась жена.

— Нельзя же быть такой трусихой!

Мы вошли в открытые ворота, куда упирался переулок. Мы очутились в старом парке, или, вернее, в роще столетних диких каштанов, и вошли в сторожку, где помещалось бюро пропусков. Мы увидели перед собой за высоким прилавком трех офицеров — военных летчиков французской армии в полной форме — со знаками различия и внушительными планками боевых орденов на груди. У них были мужественные, прекрасные галльские лица — строгие и проницательные,— и они, все трое, смотрели на нас с холодным достоинством, как судьи некоего неподкупно-высокого трибунала, обладающего неограниченной властью над каждым человеком, представшим перед ним. Подавленные, мы долго молчали.

— Итак, мадам и месье? — сказал один из офицеров, первый, которому надоело так многозначительно молчать.— Что вам угодно?

На ужасающем французском языке я попытался выразить наше желание. Они, эти три боевых офицера, вполголоса посовещались, после чего осмотрели нас со всей тщательностью с головы до ног и, по-видимому, остались не слишком довольны.

— Вы иностранцы?

— Да.

Они так нахмурились, что все их шесть бровей как бы соединились, превратились в одну жирную прямую линию, под которой решительно блестели три пары разных глаз. Затем тот офицер, который находился посередине, так сказать, средний среди равных, протянул к нам руку и отрывисто сказал:

— Ваши паспорта.

— Мы пропали! — чуть слышно ахнула жена.

Я отважно пошарил в боковом кармане и положил на прилавок две наших краснокожих книжечки с буквами «С. С. С. Р.». Ни один мускул не дрогнул на лицах офицеров, когда они, передавая друг другу, стали перелистывать и рассматривать наши «серпастые и молоткастые паспортины», испещренные визами разных стран.

— Прошу вас присесть и подождать,— сказал наконец средний среди равных, в то время как крайний слева взял телефонную трубку на скрученном, как пружина, шнуре и сказал несколько слов, показавшихся нам зловещими.

— Ну, вот мы и сели,— вздохнул я.

— Я тебя предупреждала.

Мы были уверены, что сейчас в помещение со стуком ружей войдет караул и потащит нас в кордегардию, но вместо этого появился старичок в увеличи-

тельных очках и берете, в синем комбинезоне авиамеханика — вежливая серенькая мышка. Микки Маус,— и крайний справа офицер представил нас друг другу, и мы поняли, что старичок механик не кто иной, как член Общества друзей авиации, что-то вроде нашего ДОСААФа. Затем с любезной улыбкой нам возвратили паспорта, и мы отправились вслед за старичком в глубину каштановой рощи, которая с каждым шагом делалась все гуще, чернее, сказочнее. А шум аэродинамической трубы слышался уже совсем недалеко, но несколько в стороне.

Пишу так подробно потому, что едва мы сели в вагон на площади Инвалидов, как тотчас я снова стал ощущать приближение знакомого мне чувства потери времени. Все предметы вокруг как бы начали медленно перемещаться в другие измерения.

Каштановый парк, ронявший свои крупные, рубчатые семипалые листья, резко пожелтевшие по краям, как будто от ожогов какой-то едкой кислоты, превратился вокруг нас в романтический лес, где в любую минуту мы могли встретить доброго короля Дагобера и услышать медные звуки волшебного рога Оберона, пересчитывающие гигантские черные стволы вековых деревьев, каждое вышиною в четыре трехэтажных деревенских дома, считая за третий этаж мансарду под графитной крышей. Я бы не удивился, если бы встретил здесь щетинистого, горбатого и узкорылого вепря, убегающего от борзых собак, красивых, как страусовые перья, или амазонку в висящем до земли бархатном платье и шляпе с огромным пером, отбившуюся

от королевской охоты. Но вот среди стволов показалась громадная кирпичная стена какого-то глухого строения с маленькой железной дверью. Мы подошли к ней по толстому ковру опавших листьев и колючих расколовшихся плодов, где, как в гнездышке, лежали плоские, лакированные, как бы сделанные из красного палисандрового дерева орехи конского каштана. В то время как старичок вставлял крошечный плоский ключик в скважину американского замка, я понял, кто он такой. Весьма возможно, это был именно тот самый моторист, который пятьдесят лет тому назад готовил к полету аэропланы на маленьком глухом аэродроме в пятнадцати километрах от Лонжюмо. А почему бы и нет? Тогда ему было двадцать лет, а сейчас семьдесят пять. Как большинство французских стариков, он хорошо сохранился, тем более что был спортсменом, авиатором, мотористом и много времени проводил на свежем воздухе за городом. Теперь он член Общества любителей авиации, в старости владеющий ключом от музея, быть может, единственного в мире.

— Скажите,— спросил я,— где вы работали пятьдесят лет назад?

— Я был мотористом на одном маленьком частном аэродроме под Парижем.

— Жювизи?

— Нет, вы его не знаете. Это примерно на том месте, где сейчас Орли.

— Недалеко от Лонжюмо? — спросил я.

— Да, километрах в пятнадцати,— ответил он и открыл маленькую железную дверцу, выкрашенную в зеленый цвет. Судя по тому, что она завизжала на

петлях, можно было заключить, что сюда редко приходят посетители.

Старичок пропустил нас вперед, и вдруг мы очутились в удивительном мире первых летательных аппаратов, построенных человеком.

Это были не копии и не макеты, а те самые, подлинные, которые со слабеньким треском тех самых моторов медленно летали над лугами моего детства, моей юности. На них можно было бы полететь хоть сейчас. Они окружали нас в этом громадном кирпичном павильоне — совсем небольшие, почти игрушечные: уже не змеи, но еще не вполне машины, сделанные руками столяров и обойщиков из самых легких материалов и теми же самыми простыми инструментами, какими делали мебель. Первым летательным аппаратом, который я здесь увидел, были легендарные «крылья Отто Лилиенталя», надевавшиеся на человека, как воздушный панцирь. Они висели прямо передо мной на уровне моих глаз, и я хорошо видел их рубчатую, выпуклую поверхность китайского змея. Теперь бы это назвали планером. Но тогда это называлось летательным аппаратом без двигателя. Двигателями были человек, ветер и сила земного притяжения. Отто Лилиенталь надел его на себя, просунул руки в петли раскинутых крыльев, пробежал, ринулся с возвышенности навстречу ветру, несколько мгновений парил и метался в воздухе, как летучая мышь, а потом рухнул на землю и погиб под обломками своего летательного аппарата, как Икар. Затем я увидел в двух шагах от себя моноплан Блерио, тот самый, подлинный, который полвека назад под темными тучами и над темными волнами перелетел через Ла-Манш и благополучно

сел где-то за меловыми берегами Англии, недалеко от Дувра, а рядом с ним я узнал, как доброго старого знакомого, «Фарман-16», и, если бы я увидел на его сидении, похожем на лубяное решето, в котором обычно продают клубнику, волжского богатыря, чемпиона мира, борца Ивана Заикина в желтом кожаном пальто и шлеме, добродушного человека с кукурузными усами над солдатским подбородком, то я бы, пожалуй, ничуть не удивился, потому что это был аэроплан моего детства. Обладая волшебной способностью мысленно перемещаться во времени, я переходил, как очарованный, от первого аппарата братьев Орвилля и Уилбура Райт, «сумасшедших из Огайо», где авиатор не сидел, а лежал на крыле, держась руками за кожаные петли, к очень щегольскому, но довольно грузному моноплану «Антуанетта» с фюзеляжем в форме красивой лодки из красного дерева, с длинными крыльями и вычурным хвостом, делавшим аэроплан чем-то отдаленно похожим на ласточку, а главное, со стационарным многоцилиндровым мотором. Я узнавал «Латамы», «Спрингвельды» и т. д. Они окружали меня со всех сторон. Иные висели на тросах. Иные стояли на полу на своих велосипедных колесах, совсем маленькие, до смешного легкие, но все же готовые в любой миг поднять человека над землей и полететь, с крыльями, покрытыми пятнами засохшего касторового масла и пылью полувековой давности. Первые наивные моторы — двигатели внутреннего сгорания. Первые пропеллеры — деревянные, трехслойные, ручной работы лучших столяров. Первые карбюраторы и контактные кнопки. Медные бензиновые баки. Палки рулей управления. Элероны, легкие, как крылья ба-

бочки. Все это было похоже на громадную детскую комнату человечества, полную страшно дорогих летающих игрушек начала века. Всем этим я увлекался в ранней юности, и всем этим увлекался и любовался Ленин на аэродромах под Парижем.

Но Ленин не был бы Лениным, если бы, увлекаясь зрелищем первых полетов, он мысленно не ставил авиацию на службу революции. Всего только через восемь лет, в девятнадцатом году, обдумывая способы ликвидации прорыва конного корпуса Мамонтова на Южном фронте, Ульянов (Ленин) обратил внимание Реввоенсовета на возможность применения авиации на бреющем полете против белой конницы. Можно не сомневаться, что, наблюдая за эволюцией первых аэропланов, Ленин уже тогда предвидел возможность поставить летательные аппараты тяжелее воздуха на службу пролетариату для борьбы с врагами революции. Я уверен, что еще тогда, лежа в траве глухого, малопосещаемого аэродрома недалеко от Лонжюмо, Ленин мысленно отметил явление бреющего полета, такого низкого, что казалось, колеса аэроплана заденут шляпку Надежды Константиновны, восемь лет держал это в памяти и, как только потребовала ситуация, пустил в дело для разгрома мамонтовского рейда.

Мы возвратились на электрическом поезде в современный, вечереющий Париж второй половины двадцатого века, полные живых впечатлений от этого удивительного музея. Кроме подлинных аэропланов начала века, там было еще множество других летательных аппаратов — подлинных, копий, маленьких, изящных

макетов — все, что относится к материальной истории авиации и воздухоплавания, от бумажного монгольфьера времен Людовика Шестнадцатого и до шарообразной кабины с круглыми иллюминаторами знаменитого советского стратостата «С. С. С. Р. 1.». Здесь мы видели «Баллоны» Парижской коммуны, которые выпускали с Монмартра, и макет русского четырехмоторного самолета «Илья Муромец» времен первой мировой войны, который я сразу узнал, потому что некогда, в 1916 году, под Минском наша противовоздушная батарея охраняла полевой аэродром, где базировались «Ильи Муромцы», и я частенько туда захаживал и лазил в закрытую кабину, похожую на внутренность трамвая, и трогал громадные бомбы, подвешенные под крыльями.

Здесь же косо висел под потолком подлинный советский боевой ястребок времен Великой Отечественной войны — зелено-коричневый, обожженный, продырявленный осколками, с красными звездочками — счетом сбитых фашистских самолетов.

Мы приближались к Парижу... Мне очень хочется прибавить — городу Ленина, потому что я всегда ощущаю Париж как город Ленина. В этот вечер президент Франции де Голль во всем своем скромном величии промчался мимо нас — по-видимому, обедать — с небольшим эскортом мотоциклистов из Елисейского дворца через мост Инвалидов по эспланаде и скрылся, как видение, сгорбившись в своей небольшой, элегантной машине — в окне мелькнул его общеизвестный профиль, — провыли сирены, промигал воспаленно-

красный колпачок первого мотоциклиста, и кортеж пропал из глаз, растворился в сумерках, там, где в небе синел высокий купол собора Инвалидов над куском русского гранита с высохшим телом французского императора в середине. Париж уже начал дружно светиться, и в Сене извилисто отражались яркозеленые фонари мостов и набережных.

А мой Ленин-пешеход (пешеход, потому что у него велосипед был в ремонте) перебирался с правого берега на левый по разным мостам, чаще всего по «Новому мосту» или по мосту «О шанж», а затем «Сен-Мишель». Но бывало, что ему приходилось идти по мосту Александра III. Вижу, как он идет по этому новому, сравнительно недавно открытому мосту шикарно буржуазного стиля — триумф дурного вкуса — mauvais goût. В городе Нотр-Дам и Сен-Шапель, Лувра и Консьержери этот мост выглядел бы чудовищно, если бы Париж не был повсеместно заражен подобной же эклектикой конца века, этим «стиль сан стиль», к которому с течением времени привыкли. Он стал необходимой принадлежностью буржуазного Парижа.

В узком пальто с бархатным воротником, в котелке, быстрый и коренастый, Ленин немного боком пробирался в толпе среди фиакров и автомобилей, обдававших вонючим бензиновым чадом. Между двух рядов электрических фонарей, многоруких, как канделябры, блестели шелковые цилиндры, нежно белели дамские боа из страусовых перьев, пахло вечерними уличными духами, хорошими сигарами... Ленин почти

бежал, стараясь поскорее вырваться из потока всех этих богатых, нарядных людей, которые торопились в разные места обедать. Свет экипажных и автомобильных фонарей скользил по лицу Ленина, и его глаза по временам фосфорически светились. Сколько бы раз ему ни случалось переходить через мост Александра III, он никогда не мог не думать о том, что этот фешенебельный парижский мост носит имя русского царя, повесившего его старшего брата, Сашу. Мост имени убийцы Александра Ульянова. Ленин никогда не мог примириться с казнью любимого брата. Мысль об этом жгла его всю жизнь. Сам Ленин никогда не был террористом. Он принципиально отрицал индивидуальный террор. И все же иногда ему было трудно совладать со своим сердцем, со своим неукротимым темпераментом бойца-революционера. С. Невзорова-Шестернина вспоминает о том далеком времени, когда она была курсисткой, а Ленин молодым адвокатом и как она возвращалась с ним однажды из библиотеки. Это было в Петербурге в девяностых годах, и Ленину тогда было немногим больше двадцати лет... «...Нам было по пути, он жил в Казачьем переулке, недалеко от Измайловских рот. Помню, раз мы бежим быстро по Невскому, мимо Аничкова дворца. Это было в начале декабря. Он прищурил свои острые, блестящие глаза, посмотрел на дворец и, весело, шутливо смеясь, говорит: «Вот бы сюда хороший апельсинчик бросить!»

«Весело, шутливо...» Ну, не думаю. Не знаю. Не верю. Но даже если в самом деле «весело и шутливо», то, во всяком случае, веселье это было невеселое, а шутки нешуточные. И, вероятно, в то время, когда он,

молодой, неизвестный, только «полуразгаданный», как его тогда определял его друг Кржижановский, сквозь злую декабрьскую вьюгу бежал, подняв воротник утлого пальтишка, по ослепительно сверкающему гоголевскому Невскому проспекту, его проницательные глаза недобро светились фосфорическим блеском. Всю жизнь ненавидел он богатство, дворцы, блеск буржуазного города со всеми его соблазнами и красотами. Для него, вероятно, были одинаково враждебны и зимний, бриллиантовый блеск императорского Санкт-Петербурга, Аничкова моста с полузасыпанными блистающим снегом лошадьми барона Клодта, и освещенный сильными электрическими фонарями парижский мост имени убийцы брата Ленина. Может быть, и здесь также думал он об апельсинчиках: «Вот бы трахнуть, чтобы только огонь брызнул во все стороны»,— сухо улыбаясь про себя, и смуглая кожа морщилась на его скулах. Кто бы мог подумать тогда, что семь лет спустя имя этого полуразгаданного человека прогремит на весь мир, а через пятьдесят — его идеи восторжествуют более чем на одной трети земного шара — слава, которой до него не достигал еще ни один человек! А он и не думал о ней, об этой мировой славе! У него для этого просто не было времени. Все его время было отдано целиком и без остатка делу рабочего класса, пролетарской революции.

Возле палаты депутатов он мог бы сесть в метро и с пересадкой на Монпарнасе доехать до Алезии, почти до самого дома. Но, во-первых, финансовые дела обстояли плохо, приходилось экономить даже на транспорте, а во-вторых, хотелось пройтись после утомительной работы в библиотеке. Ему хорошо думалось

на ходу, и он хотел еще раз продумать все те материалы, которые наскоро пробежал в читальном зале. Он шел вверх по бульвару Распайль, мимо военной тюрьмы, между двух рядов еще не вполне облетевших молодых платанов с пятнистыми зелено-коричневыми стволами, которые недавно посадил парижский муниципалитет вдоль всего бульвара. Карманы Ленина были набиты выписками, которые он сделал в библиотеке. Вялая листва металась при свете редких фонарей и витрин. Мокрый ветер бил в лицо, пролетая, как время, которое невозможно остановить. Быть может, впервые Ленин задал себе простой человеческий вопрос: что ждет его впереди? Он задал себе этот вопрос, погрузился в размышления и — уже где-то в районе улицы Вано, недалеко от монпарнасской церкви «Нотр-Дам де Шам» — сам себе очень просто ответил: революция. А что же другое могло его ждать впереди? Дома он узнал о смерти Поля и Лауры Лафаргов. Лаура Лафарг была дочерью Маркса. Поразила ли его эта внезапная двойная смерть?

История личного знакомства Ленина с Лафаргами коротка.

У Лафаргов, как и вообще в семье Маркса, всегда был силен интерес к России, читаем мы в книжке О. Б. Воробьевой и И. М. Синельниковой «Дочери Маркса». Еще в 70-х годах Лафарг установил связи с русским революционным движением и выступал со статьями в прогрессивных органах печати России. Лафарг приветствовал возникшую в 1883 году первую русскую марксистскую организацию — группу «Осво-

бождение труда». Дом Лафаргов часто посещали русские политические деятели-эмигранты: П. Лавров, Г. Лопатин и другие. Часто бывал у них русский журналист Русанов; он рассказывал, что его поражало, как хорошо Лафарги знакомы с событиями русского революционного движения. Когда в России в 1905 году разразилась революция, Лаура восторженно приветствовала ее: «В общем, революция началась, и Россия... с ее доблестным пролетариатом, мужчинами и женщинами, которые так мужественно борются, вступает в новую эру!» После смерти Энгельса Лафарги получили небольшое наследство. Они купили себе дом в Дравейле, местечке в 25 километрах от Парижа.

Год назад Шарль Раппопорт помог Ленину возобновить знакомство с Лафаргом, после чего в один прекрасный день Владимир Ильич и Надежда Константиновна отправились на велосипедах в Дравейль. Лафарг был знаменитый революционер, сподвижник Маркса и Энгельса, один из немногих оставшихся в живых от Марксовых времен, один из виднейших деятелей Интернационала, который потом вместе с Гедом создал и возглавил французскую рабочую партию, посвятив всю свою дальнейшую жизнь борьбе за чистоту этой партии и пропаганде революционного марксизма во Франции. Ленин относился к Лафаргу с громадным уважением и очень ценил его мнение. Лаура Лафарг была во всех отношениях дочерью своего великого отца и верной подругой, помощницей своего мужа Лафарга — одна из самых выдающихся женщин своего времени. Если бы не сложные семейные обстоятельства — двое маленьких детей на руках, — она, возможно, также была бы в 1871 году среди бор-

цов Коммуны. «Я практикуюсь в стрельбе из пистолета в здешних полях и лесах, так как я вижу, как хорошо сражались женщины в недавних боях, и никто не знает, что еще может произойти», — писала она своему великому отцу Карлу Марксу.

Вот к этим-то двум замечательным людям и приехали однажды Ленин и Крупская с визитом, отмахав по пыльным шоссе добрых двадцать пять километров. Еще совсем недавно в Дравейле было очень оживленно, особенно по воскресеньям. На обедах у них постоянно присутствовало несколько человек — товарищей по партии и просто хороших знакомых, часто бывал Жюль Гед, русские эмигранты, много молодежи. Обеды всегда проходили в интересных дружеских беседах, воспоминаниях; возникали и горячие диспуты на политические и литературные темы... Но время шло, они старели, в доме становилось все тише, все молчаливее. Гостей приезжало все меньше. Лафарги — Поль и Лаура — уже отошли от непосредственной работы. Им уже было под семьдесят.

«Лафарги встретили нас очень любезно,— пишет Крупская.— Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Я очень волновалась — дочь ведь это Маркса была передо мной; жадно вглядывалась я в ее лицо, в ее чертах искала невольно черты Маркса...»

Крупская не пишет, нашла ли она эти черты. Но я думаю, нашла, хотя и считается, что Лаура гораздо больше походила на мать, чем на отца. Стоит всмотреться в портрет Лауры, в ее женственно-круглое лицо, в ее карие глаза под красивыми дугами бровей, в

ее нежный рот с толстоватыми губами, как вы сразу увидите хотя и слабое, но явственное фамильное сходство с Марксом, которого друзья называли Мавром. Все же было видно, что Лаура — его дочь. В молодые годы она была тонкая, стройная, теперь же, в старости, отяжелела, расплылась, хотя и была попрежнему «строгая, спокойная, с бледным лицом и нежными глазами, с тихим, слегка приглушенным голосом». Молодая, совсем не светская, немного потерявшаяся оттого, что разговаривает с дочерью великого Маркса, стесняясь своего пыльного от велосипедной езды костюма и дешевой шляпки, Крупская сначала никак не могла найти тон, чувствовала себя провинциалкой. «В смущении,— вспоминает она,— я лопотала что-то нечленораздельное об участии женщин в революционном движении, о России; она отвечала, но разговора настоящего как-то не вышло».

Представляю себе, как радушная и гостеприимная, но по-парижски сдержанная с новым человеком мадам Лаура Лафарг водила русскую революционерку-марксистку по парку, показывая ей сельские живописные виды, такие типичные для Иль-де-Франс: Сену, которая, отражая ярко-синее сентябрьское небо и разноцветные лодки спортсменов-«лягушатников», блестела, извиваясь между тростников, а на противоположной стороне виднелся лес, но не синий русский еловый лес, а бледно-зеленый, пронизанный теплыми солнечными лучами, веселый французский лиственный лес Коро и барбизонцев; и видно было, как французские деревенские мальчишки в беретах сшибают палками с деревьев настоящие — не дикие — каштаны и набивают ими карманы своих плисовых штанов; а в

небе стоял еще совсем белый, еле заметный дневной месяц. Лаура Лафарг показала Крупской свой фруктовый сад. Она подняла с травы длинный шест с ножичком и срезала на самой верхушке старого, красивого дерева созревшее яблоко, которое, прошумев в листве, твердо стукнулось о землю. Лаура, глубоко вздохнув, медленно нагнулась и с доброй улыбкой подала Крупской шафранно-желтый плод айвы, еще покрытый серебристым пушком.

— Мерси, мадам, — сказала Крупская.

— Камарад, — поправила Лаура.

— Камарад, — сказала Крупская, с восхищением глядя на эту старую, усталую женщину с такими нежными, лучистыми глазами и бровями, как у Маркса.

Женщины пожали друг другу руки. Это было не рукопожатие двух светских дам, а крепкое рукопожатие двух революционеров, членов одной партии. Потом они еще немного прошлись, как бы смущаясь своего порыва, и некоторое время стояли перед маленьким кирпичным домиком-садком, где за проволочной сеткой сидели, каждый в своем отделении, толстые кролики с дрожащими усами. Крупская шла, держа Лауру за руку, и смотрела в ее лучистые глаза, полные какой-то очень глубокой, молчаливой грусти, казавшейся тогда необъяснимой. А в доме перед камином спорили мужчины.

Еще прежде чем войти в комнату, Крупская услышала так хорошо ей знакомый, любимый смех Владимира Ильича — совсем по-детски чистосердечный, слегка гортанный и глуховатый. Он смеялся таким

смехом, когда собеседник был ему симпатичен. Крупская услышала фразу, сказанную Лениным по-французски сквозь смех, своим грассирующим альтом:

— Вы это мастерски сформулировали в своем «Материализме Маркса и идеализме Канта» лет десять назад в «Le Socialiste».

— Я уже не очень-то помню, что я там такое сформулировал,— сказал голос Лафарга.

— Зато я хорошо помню.

— Oh là-là!

— Вы изволили написать, дорогой Лафарг, что рабочий, который ест колбасу и который получает пять франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что он (рабочий) питается свиным мясом, а также то, что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. Ничего подобного,— говорит буржуазный софист, все равно, зовут ли его Пирроном, Юмом или Кантом, мнение рабочего на этот счет есть его личное, то есть субъективное, мнение; он мог бы с таким же правом думать, что хозяин — его благодетель и что колбаса состоит из рубленой кожи, ибо он не может знать в е щ и в с е б е... Это великолепно, восхитительно! — Ленин захохотал.— Вот именно: вещи в себе. Не мешало бы это хорошенько зарубить себе на носу Богданову и компании.

— Да, я писал нечто подобное,— сказал Лафарг.— Но я не помню, чтобы я писал о Богданове и компании...

— А о Богданове как раз писал я,— еще пуще хохотал Ленин.

— Он опять о своем Богданове! — в шутливом ужасе воскликнула Крупская, подымая вверх руки.

— О да,— подхватила Лаура,— колбаса в себе — это гораздо вкуснее и полезнее.

По-видимому, речь шла о новой книге Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», авторский экземпляр которой в мягком переплете лежал на столе. Высокий, элегантный Лафарг стоял, опираясь локтем о каминную доску, и его уже по-старчески сухощавая спина и великолепная голова с копной белоснежных волос на затылке отражалась в высоком каминном зеркале с докрасна потертой золоченой рамкой, между двух матовых абажуров старинных масляных ламп с медными цилиндрическими резервуарчиками. Вся фигура старого революционера с орлиным носом, огненными глазами креола, черными бровями, так чудесно контрастировавшими с белой как снег головой, как нельзя лучше соответствовала всей старофранцузской обстановке этого небольшого провинциального салона со старыми бумажными обоями, бархатной мебелью, кружевными салфеточками, фотографиями и дагерротипами в узеньких черных рамках с крестообразно выступающими концами или в овальных золоченых — со снимками Маркса, Энгельса в клетчатых панталонах, романтической Женни, Элеоноры — самой хорошенькой и вместе с тем, как это ни странно, больше всех сестер похожей на отца. Несмотря на преклонные годы, у Лафарга сохранились еще все повадки политического оратора, пламенного пропагандиста социализма; от него веяло духом Интернационала, Парижской коммуны... Иногда он выхватывал из жилетного карманчика серебряное пенсне и размахивал им, делая энергичные дирижерские жесты. Хирург, врач, аналитик, материалист до

мозга костей, человек без предрассудков, Лафарг чем-то напоминал тургеневского Базарова. Ленин любовался этим великолепным экземпляром человека, сидя в низком мягком кресле лицом к камину, откинув голову на кружевную салфеточку, пришпиленную к валику спинки, временами жмурясь, как на известной социал-демократической карикатуре под названием «Как мыши кота хоронили», где Ленин был изображен в виде кота, хватающего меньшевистских мышей. И профессорским жестом он потирал руки; он испытывал громадное удовольствие оттого, что разговаривает с таким приятным человеком, настоящим революционером-марксистом, которого глубоко и нежно уважал. Женщины вошли и сейчас же включились в разговор, без всякого труда поймав его нить. О, как много было высказано драгоценных мыслей в этом маленьком деревенском салоне и как важно было Ленину еще и еще раз проверить цепь своих доказательств в книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая для него все еще была раскаленной, как только что выкованная вишнево-красная подкова в щипцах кузнеца! Со всех сторон наступал идеализм, самый обыкновенный, старый как мир, церковный, религиозный идеализм, вульгарная поповщина, берклианство, только надевшее на свое лицо более современную маску, которую нужно было во что бы то ни стало сорвать, разоблачить истинную суть всех этих бесчисленных махистов, бернштейнианцев, богостроителей, эмпириокритиков, ревизионистов революционного материализма, а по сути дела, обыкновенных контрреволюционеров, полезших изо всех щелей, как тараканы. Для того чтобы совершить социалистиче-

скую революцию, надо создать истинно революционную марксистскую партию, а для того чтобы ее создать, нужно прежде всего очистить ее от всяческого идеализма.

— Мы боремся с малейшими проявлениями идеализма в нашей партии,— сказал Ленин.

— И вы правы! — воскликнул Лафарг, энергично выбрасывая в сторону руку, в которой держал пенсне.— Вы тысячу раз правы, дорогой товарищ Ильин!

Углубляясь в самую суть вопроса об организации настоящей, подлинно революционной русской рабочей партии, доходили до самых глубоких социальных, философских корней.

— Оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, то есть перейти на сторону идеализма,— говорил Ленин, засовывая руки в карманы и вытягивая ноги,— тот фокус, который проделывается обыкновенно с отрицанием материи, с допущением движения без материи, состоит в том, что умалчивается об отношении материи и мысли.— Ленин сел на своего конька и стал волноваться. Он особенно сильно волновался всегда, когда доходил до этого места своего спора с идеалистами.

— О, материя и мысль! — воскликнул Лафарг и вдруг глубоко задумался. Лицо его стало отрешенным.

— Материя исчезла, говорят нам,— торопливо продолжал Ленин.— Материя исчезла, говорят нам, желая делать отсюда гносеологические выводы. А мысль осталась? — спросим мы. Если нет, если с исчезновени-

ем материи исчезла и мысль, с исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения,— тогда, значит, все исчезло и (в том числе) ваше рассуждение как один из образчиков какой ни на есть «мысли» (или недомыслия).

Теперь Ленин как бы обращался к какому-то воображаемому собирательному противнику и громил его логикой и сарказмом, как делал это всегда на философских диспутах. В эти минуты он был неотразимо прекрасен. Крупская залюбовалась им.

— С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения,— вдруг негромко повторила Лаура и с грустной задумчивостью посмотрела на мужа. Он поймал ее взгляд и одобрительно, медленно кивнул своей романтической, серебряной головой.

— Да, мой друг, именно так. Исчезнут представления и ощущения.

Прощаясь с Лениным и Крупской у калитки, через которую они выводили на дорогу свои велосипеды, Лаура негромко произнесла, дотронувшись пальцами до плеча Лафарга:

— Скоро он докажет, насколько искренни его философские убеждения.

И они, Поль и Лаура, опять как-то странно переглянулись. Тогда ни Ленин, ни Крупская не обратили на это внимания. Но вот прошло не так много времени, и, возвратившись домой на Мари-Роз, Ленин вдруг узнал о смерти Лафаргов: они покончили с собой. Оказывается, эту новость принес днем Шарль Раппопорт, взволнованный, убитый. Он крепко по-

жал руку Крупской и, не снимая мокрого пальто, выбежал вон. Крупская передала Ленину то немногое, что рассказал ей Шарль Раппопорт: сегодня утром садовник дома в Дравейле, зайдя в салон, обнаружил мадам и месье Лафаргов мертвыми перед остывшим камином, каждого в своем кресле. Накануне они поздно вернулись из Парижа, где провели вечер. Они были нарядно одеты. Причина смерти — укол цианистого калия, который они, по-видимому, сделали друг другу. А может быть, Лафарг, как врач, сделал это один. Шприц лежал на камине.

Ленин никак не мог опомниться. Он все время ходил по своей маленькой квартирке, останавливался у окон, смотрел в непроглядную черноту ноябрьской ночи, то и дело потирал лысину то одной рукой, то другой.

— Невероятно, невероятно...

Слух уже распространился по Парижу. Прибежала в накинутом на плечи осеннем пальто с буфами Инесса, которая жила в соседнем доме по улице Мари-Роз, номер два. На ее великолепных волосах блестели ртутные капельки дождя.

— Вы слышали?

— Да, приходил Шарль.

— Подробности знаете?

— Укол цианистого калия.

— А письмо?

— Значит, есть письмо?

— Да, Лафарг оставил предсмертное письмо. Пишет, что решение умереть в семьдесят лет было принято им давно. Уйти из жизни, когда ему исполнится семьдесят лет, он решил потому, что считал эту дату

как бы рубежом, за которым последует неумолимая старость, и он станет балластом для партии, так как у него нет детей и средств к существованию.

— Детей и средств к существованию... Балластом для партии...

Ленин всплеснул руками.

— Невероятно, невероятно... Инесса, ты понимаешь, что это чудовищно?

У них, у Инессы Арманд и у Ленина, были дружеские, товарищеские, но неровные отношения: иногда они говорили друг другу «ты», иногда «вы». Чаще «вы». Но сейчас, как это всегда случалось, когда Ленин был взволнован, он обратился к Инессе на «ты».

— Но Лаура, Лаура...— проговорила Крупская и замолчала, не находя слов. Глаза Инессы блеснули. Кажется, только глаза и волосы были у нее красивы. Но они делали ее неотразимой.

— Лаура в течение всей их совместной жизни,— строго сказала Инесса,— делила с Полем все трудности, радости, всю борьбу, и она с тою же верностью последовала за ним в его решении добровольно умереть. Иначе она не была бы дочерью Маркса.

— Он казался на десять лет старше ее,— заметила Крупская.

— Только казался,— сказала Инесса.— На самом деле он был старше ее всего на три года.

— Володя, ты помнишь, как он обращался к ней? — спросила Крупская.— Всегда с нежной улыбкой: «Лора, дочь моя...»

— Лора, дочь моя,— грустно сказала Инесса.

— Теперь их нет.— Крупская представила себе

Дравейль, кроликов в кирпичном домике, айву, покрытую серебристым пушком, на ладони Лауры, пенсне Лафарга в откинутой руке...

В этот вечер была очередь Ленина приготовлять чай; он сунул спичку в горелку газовой плитки, послышалась тупая вспышка, и Ленин поставил на зеленоватое пламя парижского газа большой русский чайник. Потом они сидели на кухне и молча пили чай, как в ссылке, по-сибирски, вприкуску, представляя себе маленький салон в Дравейле, два кресла перед остывшим камином и в этих креслах — друг против друга — нарядных, неподвижных, правдоподобных, как восковые куклы в музее Гревен, Лауру и Поля с открытыми, как бы искусственными глазами, устремленными друг на друга в нечеловеческой решимости умереть вместе и как бы в ожидании чего-то непонятного.

Разошлись рано. Завтра предстоял беспокойный день. Ленин лег, укрылся старым шотландским пледом, подаренным ему матерью, но понял, что не заснет. Часто в бессонные парижские ночи, по свидетельству Крупской, Ленин «зачитывался Верхарном». В последнее время Верхарн стал его привычкой. Еще недавно он был под обаянием Виктора Гюго. Огненные строфы «Возмездия» звучали в его душе. Теперь Эмиль Верхарн — великий новатор поэтической формы, революционер слова, обличитель капиталистического мира. Его образы-символы, доходя до величайшего обобщения, становились вещественно видимыми, неотразимыми в своей материальности. Они не

уводят читателя от действительности, не увлекают в зыбкий мир символизма, а помогают познать сущность вещи, проникнуть в ее философский смысл. Верхарн изображал мир, исторический отрезок времени, в котором жил и мыслил Ленин. «Лики жизни», «Города-спруты», «Многоцветное сияние», наконец, только что вышедшая книга «Державные ритмы».

Прикрыв маленькую электрическую лампочку газетой, чтобы свет не тревожил Крупскую, Ленин перелистывал Верхарна. Многие стихи он уже знал наизусть. Теперь его внимание снова задержалось на стихотворении «Статуя буржуа». Главные строфы этой маленькой поэмы, бьющие наповал, приводили Ленина в восторг своей мощью и точностью. Читая их в подлиннике, на французском языке, Ленин восхищался их каким-то неотвратимым ритмом, их бронзовым звоном:

Он глыбой бронзовой стоит в молчанье гордом.
Упрямы челюсти и выпячен живот,
Кулак такой, что с ног противника собьет,
А страх и ненависть на лбу застыли твердом.

Это был давний, вечный враг Ленина — буржуа, империалист.

Как мастер, опытный в искусстве подавленья,
Он тигром нападал и крался как шакал,
А если он высот порою достигал,—
То были мрачные высоты преступленья.
...И вот на площади, над серой мостовою
Он, властный, и крутой, и злобствующий, встал,
И защищать готов протянутой рукою
На денежный сундук похожий пьедестал.

В Париже, где поставлено более восьмисот разных памятников и монументов, подобного памятника, конечно, не было. Это была могучая фантазия великого поэта. А напрасно! Ленин беззвучно засмеялся — зло, ядовито, с той иронией, которая иногда охватывала все его существо. А напрасно! Такой монумент в центре Парижа, например, где-нибудь посредине площади Согласия, против палаты депутатов, вместо Луксорского обелиска, очень бы не помешал, как memento mori капитализму. А стихи Верхарна все текли и текли, потрясающие в своей силе и яркости. Ленин листал то одну книжку, то другую.

...В предместьях, где нужда кишит
И где слезами каждый шаг омыт,
Где перебранки вечные в лачугах,
Где взгляды ненависть скрестила, как клинки,
Где отнимают друг у друга
Кусок последний бедняки,
Где чадом горизонт закрыт, —
Рычание печей звучит
Среди кирпичных стен заводов симметричных...

...Автоматично и без слов
Толпа рабочих у станков
Заботливо блюдет
Их равномерный, четкий ход,
Который полон исступленья злого,
Который жадными зубами в клочья рвет
Ненужное отныне слово.

...Здесь зори даже
Черны от слоя сажи,
Здесь солнце и в полдневный жар
Слепцом бредет сквозь чадный дым и пар.
Лишь час, когда потемкам в дар
Неделя принесет закатный шар, —

Как молот поднятый, на миг замрет
Дыханье мощного усилья,
И золотой туман над городом прострет
Свои сверкающие крылья.

За черным окном, в щелях жалюзи, с темной улицы Мари-Роз светился одинокий газовый фонарь, а над мансардами Парижа был простерт золотой туман и слышался не утихающий ни днем, ни ночью, странный, утомительный гул громадного города. Перед Лениным появлялись могучие фигуры — символы из «Державных ритмов»: Геракл, Персей, Мартин Лютер, наконец, Город с большой буквы:

...Расстаться был бы рад ты с вековым укладом,
Чтоб слиться наконец,— своих богов губя, —
С неистовой душой, исполнившей тебя
Огромным электрическим зарядом.

Ленин чувствовал в себе этот огромный электрический заряд, не дававший ему спать, измучивший напряженный мозг бессонницей, мозг, устремленный в грядущее.

Грядущее! Я слышу, как оно
Рвет землю и ломает своды в этих
Городах из золота и черни, где пожары
Рыщут, как львы с пылающей гривой.

Единая минута, в которой потрясены века,
Узлы, которые победа развязывает в битвах,
Великий час, когда обличья мира меняются,
Когда все то, что было святым и правым,
Кажется неверным,
Когда взлетаешь вдруг к вершинам новой веры,
Когда толпа — носительница гнева, —
Сочтя и перечтя века своих обид,
На глыбе силы воздвигает право.

Ленин быстро листал страницы Верхарна, хотел и не мог забыться. И в это же время перед его глазами стояла все та же неподвижная картина: перед остывшим камином два пустых кресла. «С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения». Для Поля и Лауры теперь навсегда исчезли представления и ощущения. Исчезла комната, зеркало, камин, свет солнца, восходящего за Сеной, так нежно тронувший край кружевной оконной занавески, золотой голос утреннего петуха. Для них исчез мир. Но для нас, живых, они, Поль и Лаура, существуют в своей вечной неподвижности, бедные старики, которые так много сделали для счастья живых. Неужели они вот сейчас, в эту самую минуту лежат на мраморных плитах морга, обложенные кусками искусственного льда, и холодная вода методично каплет на их лбы? О, как трудно это себе представить! Ленин прислушался. Теперь к постоянному, почти неощутимому гулу Парижа прибавился еще какой-то другой, более определенный шум, грубый, как гул мельничных жерновов. Это по Авеню д'Орлеан сплошным потоком, как лава, текли повозки, фургоны, грузовые автомобили, тележки, двуколки с продуктами для Центрального рынка. Приближалось утро. Вот оно наконец забрезжило. Теперь в воздухе как бы вырос знакомый органный лес фабричных гудков, от которых тонко гудели оконные стекла и позванивал на лестнице велосипед Крупской. Внизу щелкнула задвижка в комнате консьержки, затем распространился тонкий, колониальный запах горячего кофе. Начался день, полный забот: экстренное партийное собрание, выработка общей линии поведения

в связи со смертью Лафарга. Было принято решение, что на похоронах Лафаргов от имени Российской социал-демократической рабочей партии выступит Ленин. Запись ораторов происходила в редакции «Юманите» у Жореса, наплыв ожидался громадный. И нужно было не опоздать, чтобы попасть в списки выступающих. Прямо с партийного собрания Ленин через весь город отправился в редакцию «Юманите», которая помещалась в то время недалеко от Биржи.

Площадь вокруг Биржи чернела толпой. Биржевой день только что кончился. Биржевики расходились завтракать. Вооруженные швабрами и метелками, сторожа в форменных тужурках с энергичной поспешностью выметали бумажный мусор, мыли гранитные ступени, круглые железные писсуары, запирали решетки, окружавшие здание Биржи. Площадь напоминала поле битвы, откуда уже успели вынести убитых и раненых, остались лишь клочья амуниции, а уцелевшие живые, шатаясь от усталости, перестраивают свои ряды и уходят на биваки, к палаткам маркитантов. Ленин торопился пробраться сквозь толпу, стараясь не коснуться случайно кого-нибудь из этих как бы оглохших и ослепших — контуженных — людей, один вид которых вызывал в нем физическое отвращение. Однако ему не всегда удавалось избежать прикосновения к этой биржевой мрази. Его толкали, в знак извинения наскоро приподняв над вспотевшей, взъерошенной головой цилиндр или котелок. На углу среди фиакров и автомобилей он грудь в грудь столкнулся с человеком, который шел, ничего не видя перед собой, с остановившимися глазами, сжимая в руке биржевой бюллетень, и на его лице был напи-

сан ужас. Потухший, мокрый окурок сигары торчал изо рта, и капля пота текла из-под цилиндра по лбу, по носу... Вся эта картина, как бы стремительно и неряшливо написанная пером Эмиля Золя, стояла перед Лениным во всей своей обнаженной непривлядности, казавшейся особенно мерзкой и оскорбительной в этот траурный день, сделавший Париж похожим на мокрый газетный лист с сетками траурных клише и полосками некрологов.

В начале тридцатых годов однажды поздней осенью я зашел в редакцию «Юманите» для того, чтобы пожать руку Марселю Кашену, с которым я познакомился в Москве, в садике дома Герцена. Он тогда редактировал «Юманите». Кажется, газета помещалась в том же самом доме, что и до первой мировой войны, а Кашен занимал кабинет Жореса, сидя за большим письменным столом, спиной к большой политической карте Европы, претерпевшей со времен Жореса так много трагических перемен.

Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних,
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта.

Пока я, по парижскому обычаю, не снимая макинтоша и присев боком на край редакторского стола, рассказывал Кашену о наших пятилетках и о чудесах строительства гигантского Магнитогорска, где я провел последние четыре месяца в качестве специального корреспондента, а он время от времени с загоревшимися глазами восклицал: «Оля-ля! Если бы это видел наш Ленин!», — в кабинет запросто, как старый

товарищ, вошел бравый старик метранпаж в традиционной синей, крепко накрахмаленной рабочей блузе, из-под которой выглядывал твердый воротничок с шелковым галстуком. У него в руках были сырые газетные гранки с крепко вдавленными оттисками строчек и большая типографская щетка, на весь кабинет распространявшая какой-то волнующе-редакционный, резкий запах керосина. Слушая мой рассказ, Кашен быстро делал на полях гранок корректурные иероглифы, а старый метранпаж сел на другой угол редакторского стола и, дружески положив на мое плечо смуглую руку с тонким, стершимся обручальным кольцом на безымянном пальце, кивал головой с редкими напомаженными черными волосами, аккуратно расположенными по всей лысине.

— Ça va bien! C'est une grande victoire du communisme mondial. Не так ли, товарищ? Завтра мы даем о Магнитогорске в «Юма» большую информацию. Вы знали товарища Ленина? — спросил он меня.

— К сожалению, лично не приходилось.

Старый метранпаж сочувственно посмотрел на меня.

— А я видел Ленина. Он однажды заходил к нам в «Юма», к бедняге Жоресу. Но не застал. Бедняга Жорес в это время как раз завтракал. И Ленин пошел к нему в «кафе дю Круассан». Вы должны гордиться вашим Лениным,— со строгостью заметил он.— Это был великий человек; гораздо более великий, чем наш Робеспьер и, может быть, даже, чем Жан-Жак.

— А я его прекрасно знал,— сказал Кашен, нежно улыбнувшись из-под своих нависших бровей.— Мы

с ним были большие друзья. Это был острый человек, настоящий революционер... И вместе с тем парижанин... О, если бы ему удалось увидеть окончательный триумф своих идей в Советской России! Ça ira!

...Мне легко было представить темный парижский день конца ноября 1911 года, пустые редакционные коридоры и мраморную зашарканную лестницу, покрытую клочьями грязного газетного срыва, по которым с сырым свернутым зонтиком под мышкой бегал Ленин, разыскивая Жореса и вдыхая теплый воздух, поднимающийся откуда-то снизу, из линотипной: острую смесь горящего светильного газа, расплавленного металла стереотипов, типографской краски, мазута. Не найдя Жореса в редакции, по совету метранпажа Ленин поспешно отправился в «кафе дю Круассан», где Жорес всегда завтракал.

Ленин нашел Жореса внизу переполненного зала, на его обычном месте, возле громадного окна, с одной салфеткой, разложенной на коленях, а другой — завязанной высоко под бородой. Жорес кончал завтракать и намазывал острым ножичком кусок очищенного от корочки камамбера на хрустящую корку хлеба.

— А, дорогой Ленин! — воскликнул он и с живостью положил обе салфетки на столик.— Рад вас видеть. Садитесь. Но какая грустная встреча, не правда ли? Наш друг Лафарг ушел от нас, кто бы мог подумать? С этим трудно примириться!

— Я заходил к вам в «Юма», — сказал Ленин.

— Я завтракал. Но я уже кончил,— ответил Жо-

рес.— Может быть, чашечку черного кофе? — спросил он Ленина.

Ленин отказался. У него было еще много дел. Он сел боком на стул, подвернул под себя ногу и коротко объяснил цель своего визита.

— Я прошу слово от имени Российской социал-демократической рабочей партии. Вот мои полномочия.

Ленин положил на столик бумагу.

— У нас громадный список ораторов, мы очень стеснены, — сказал Жорес, — но вам, как представителю великой революционной России, конечно, будет предоставлено слово на похоронах несчастных Лафаргов. Только не слишком длинно!..— умоляюще сказал Жорес. Он вынул из кармана записную книжку и вписал туда несколько слов.—Но вечером, дорогой Ленин, я прошу вас все-таки еще раз зайти ко мне в «Юманите», чтобы оформить все строго официально. Итак, до вечера.

Они попрощались. Ленин торопился. Жорес увидел сквозь мокрое стекло витрины, как на улице появилась маленькая фигура лидера русских социал-демократов Ленина и как он быстро прошел мимо ларька, где бородатый нормандец в клеенчатой зюйдвестке продавал разложенные в плоских ящиках, среди лимонов, водорослей и мха, устрицы, розовые креветки, чернильно-черных морских ежей, мидии, бургундские эскарго, и ветер качал над ним декоративный морской фонарь и спасательный круг с надписью «Устрицы». Жорес видел, как по стеклу витрины извилисто текли мелкие капли ноябрьского дождя, и это была та самая витрина, сквозь

которую в июле четырнадцатого года выстрелом из револьвера он был убит в то время, когда наливал себе в стакан из маленького графина красное бордо.

...Годы были насыщены трагическими событиями: гибель «Титаника», выстрел в Сараеве, убийство Жореса, начало первой мировой войны, все последствия которой нельзя было тогда даже вообразить.

Недавно я зашел в знаменитое «кафе дю Круассан», где был убит Жорес, и видел на стене дома мраморную доску с именем Жореса, а также рельефное изображение фригийского колпака с раскрашенной трехцветной кокардой, похожей на маленькую стрелковую мишень, и буквами R. F.— Репюблик Франсез.

Вечером Ленин еще раз отправился в «Юманите», чтобы подать официальное заявление, но только поздней ночью, и то с большим трудом, смог попасть туда, так как на улице перед редакцией уже собралась громадная толпа. Это была тревожная, траурная ночь. Остаток ее Ленин провел дома на Мари-Роз, работая над текстом своего завтрашнего выступления. Он отлично владел французским языком, но на этот раз сначала решил написать по-русски. Инесса переводила на французский. Она знала французский лучше Ленина. Это был ее родной язык. Ленин очень щепетильно относился ко всем своим публичным выступлениям на иностранных языках, в особенности

же к этой речи на похоронах Лафаргов, когда предстояло выступить перед лицом всего революционного Парижа, язык его речи должен быть безукоризненным.

В воскресенье третьего декабря на кладбище Пер-Лашез с раннего утра из трубы крематория уже густо полз черный, жирный каменноугольный дым, смешиваясь с низкими городскими тучами и черной сетью мелкого дождя, зарядившего надолго. В подвале крематория, в печах бушевало адское пламя раскаленного добела антрацита, бежали синие волны газа, и все было готово для того, чтобы испепелить трупы двух атеистов.

Траурные черные колесницы, покачиваясь на высоких рессорах, одна за другой въехали в ворота Пер-Лашез. Качались круглые французские венки с красными муаровыми лентами. За колесницами шел весь революционный Париж, десятки тысяч французских пролетариев — фобуры Сен-Дени, Сент-Антуан, Бельвиль, Иври, Батиньоль, Монмартр — под красными знаменами, делегаты международного социализма, среди которых между Крупской и Инессой Арманд с обнаженной блестящей головой шел сосредоточенный Ленин. Зал крематория не мог вместить всего народа, и траурный митинг прошел под открытым небом по дороге в колумбарий. Перед темной, неподвижной толпой, окружавшей со всех сторон траурное возвышение, выступали Каутский, Брак, Эдуард Вайян, Харди, Жорес — самые блестящие ораторы мира. Когда очередь дошла до Ленина, он решительно шагнул вперед и остановился на краю помоста. Он держал в руке сложенный пополам листок из блокнота, помявшийся в

кармане, с французским текстом речи, но ни разу не взглянул на него. Ализариновые чернила автоматической ручки расплылись под дождем, пачкали пальцы фиалковыми пятнами.

— Товарищи! — раздался в тишине небольшой грассирующий голос Ленина. — Я беру слово, чтобы от имени Российской социал-демократической рабочей партии выразить чувство глубокой горести по поводу смерти Поля и Лауры Лафарг.

Ленин усилил голос, соразмеряя его с величиной толпы, наполнявшей почти все громадное кладбище, расположенное на холмах. Быть может, впервые в жизни Ленину приходилось выступать под открытым небом перед таким громадным скоплением народа, при монотонном шуме затяжного осеннего дождя, который упруго барабанил по раскрытым зонтикам, шуршал по красным знаменам, потемневшим от влаги. Дождь дымился в черных ветвях кипарисов, пробегал по мраморным крышам часовен и мавзолеев, по готической усыпальнице Элоизы и Абеляра, по крестам, обелискам, скамейкам и статуям этого безмолвного города мертвых, по его тесным улицам, откуда доносился тонкий, настойчивый запах гниющих георгинов и хризантем. Голос Ленина звучал над живыми и над мертвыми. Кто-то раскрыл над обнаженной головой Ленина зонтик, и капли дождя падали с его черных спиц на бумажку в руке Ленина.

— Сознательные рабочие и все социал-демократы России еще в период подготовки русской революции научились глубоко уважать Лафарга, как одного из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма, столь блестяще подтвержденных

опытом борьбы классов в русской революции и контрреволюции.

Голос Ленина еще усилился. Теперь в тишине этого громадного траурного митинга каждое слово Ленина долетало до самых отдаленных уголков Пер-Лашез.

— Под знаменем этих идей,— говорил Ленин,— сплотился передовой отряд русских рабочих, нанес своей организованной массовой борьбой удар абсолютизму и отстаивал и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии вопреки всем изменам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии.— Тут Ленин непроизвольно бросил быстрый взгляд на Каутского.

Ленин сделал небольшую паузу. Он видел перед собой парижский пролетариат, его боевые красные знамена, быть может, те самые, которые некогда развевались на баррикадах Коммуны, он видел аллеи кладбища, где шли последние бои коммунаров с версальцами. Быть может, в этот миг Ленин представлял себе, как снаряды шестиорудийной батареи версальцев, установленной на Тронной площади, громят ворота Пер-Лашез. Летят щепки, камни, куски железа. Огонь бьет в глаза. Преодолевая героическое сопротивление коммунаров и слабый огонь их митральез, версальцы врываются в глубину кладбища. В течение двух часов коммунары вели ожесточенный бой буквально за каждый памятник и каждую могилу. Как ясно представлял себе Ленин теперь, стоя на траурном помосте, страшное кровопролитие, происходившее тогда среди этих самых склепов и обелисков, белевших перед ним в черной зелени кипари-

сов... Дальше, среди голых зимних деревьев, он угадывал оббитую пулями стену, из которой как бы выступали раскинутые крестом руки трагической женщины и гордо закинутые головы расстрелянных коммунаров. Все это было так недавно! Ленин чувствовал, как из толпы на него смотрят старые парижские коммунары, а один из них — знаменитый Эдуард Вайян, парижский корреспондент Маркса, делегат по просвещению Коммуны, друг знаменитого поэта, автора «Интернационала» Эжена Потье, друг Курбе, Эдуарда Мане, Коро, Милле, Домье и других деятелей Коммуны — знаменитых французских художников, реформатор системы народного образования Франции, — стоит теперь рядом с ним на траурном помосте в старомодном сюртуке — рукава с буфами, в узком черном галстуке, — с гордой, поседевшей головой, блистающей каплями дождя. Ленин и Вайян — две эпохи — стояли рядом друг с другом в этот траурный день похорон Лафаргов.

— В лице Лафарга, — продолжал Ленин, — соединялись — в умах русских социал-демократических рабочих — две эпохи: та эпоха, когда революционная молодежь Франции с французскими рабочими шла во имя республиканских идей на приступ против империи, — и та эпоха, когда французский пролетариат, под руководством марксистов, вел выдержанную классовую борьбу против всего буржуазного строя, готовясь к последней борьбе с буржуазией за социализм.

Ленин уже полностью и безраздельно овладел вниманием толпы. Все глаза были прикованы к небольшой, энергично-подвижной фигуре этого еще не вполне разгаданного русского лидера, который, делая

сдержанно-страстные жесты, лишенные какого бы то ни было расчета на эффект, так просто, точно и вместе с тем с такой экспрессией раскрывал перед толпой самую суть мирового политического положения.

— Нам, русским социал-демократам, испытывающим весь гнет абсолютизма, пропитанного азиатским варварством, и имевшим счастье из сочинений Лафарга и его друзей почерпнуть непосредственное знакомство с революционным опытом и революционной мыслью европейских рабочих, нам в особенности наглядно видно теперь, как быстро близится время торжества того дела, отстаиванию которого Лафарг посвятил свою жизнь.

Теперь в словах этого маленького, скромного русского лидера звучало пророчество. Ленин совсем просто, как будто речь шла не о величайшем историческом открытии, а о самой обыкновенной, всем известной вещи, произнес пророческие слова:

— Русская революция открыла эпоху демократических революций во всей Азии, и 800 миллионов людей входят теперь участниками в демократическое движение всего цивилизованного мира. А в Европе все больше множатся признаки, что близится к концу эпоха господства так называемого мирного буржуазного парламентаризма... (Жорес неодобрительно помотал головой)... чтобы уступить место эпохе революционных битв организованного и воспитанного в духе идей марксизма пролетариата, который свергнет господство буржуазии... («Не так скоро, не так скоро»,— пробормотал Каутский, сердито взглянув на Ленина)... и установит коммунистический строй.

С этими словами Ленин решительно стряхнул пальцами капли дождя с бархатного воротника своего пальто и отошел в сторону. Он кончил. Коммуна, раздавленная и расстрелянная сорок лет тому назад на кладбище Пер-Лашез, вновь была провозглашена на этом же самом месте.

С кладбища возвращались домой на метро, когда уже совсем стемнело. Наступили так называемые часы пик. Нужно было пересечь почти весь город. Страшно устали. Пересаживались на станции «Реомюр — Севастополь». Толпа стиснула их и потащила за собой по грязно-кафельным подземным коридорам, по темным каменным лестницам, поблескивающим под ногами, как бы посыпанным селитрой. Они шли, подчиняясь приказаниям многочисленных надписей и стрелок. Тяжелый углеродистый воздух, то жаркий до головокружения, то сырой, холодный, врывался откуда-то из боковых ходов и проносился по бегущей толпе, которая вдруг останавливалась перед шипящими пневматическими дверцами; они неотвратимо-медленно закрывались перед самой грудью, не пуская на перрон опоздавших к очередному, быстро приближающемуся поезду. Щелкали громадные никелированные щипцы в подагрических руках старух контролерш, пробивая картонные билеты с буквой «М», и из щипцов все время сыпались на пол кружочки и полумесяцы, устилая каменный пол безрадостным конфетти. А старуха контролерша, сидя на складном стульчике, все щелкала и щелкала щипцами — младшая парижская сестра Парки, — как бы «считая дни и не давая

отсрочки». Подошел поезд. Пять вагонов. Средний, полупустой, белого цвета — первого класса. С тугим пневматическим шипением двери плавно закрылись; сами собой, со стуком заперлись медные щеколды; поезд помчался, вагон мотало, валя на поворотах пассажиров друг на друга, сбивая с ног, как кегли. Но Ленину это, видимо, даже нравилось: быстро, сравнительно недорого, сердито. Демократично. Правда, тесновато и могло бы быть дешевле, но ничего не поделаешь: капитализм. Многомиллионный пролетарский город. Столица мира. Для того чтобы угнаться за потребностями его быстро растущего населения, необходимо плановое социалистическое хозяйство. Капиталистическая анархия промышленного производства не угонится. А вообще-то метрополитен — вещь невредная. Когда русский пролетариат прогонит царя и возьмет власть в свои руки, одним из первых мероприятий должна быть постройка в наиболее крупных рабочих центрах хорошего, удобного, быстрого и дешевого метрополитена. Кое-чему не мешало бы поучиться и у буржуазии. Например, народное питание. Побольше всевозможных демократических закусочных, бистро, ресторанчиков, молочных. На каждом предприятии. Цены по себестоимости. Дешево и сердито. И женщинам станет легче. Не маяться же всю жизнь у плиты! Побольше дешевых механических прачечных: не гнуть же всю жизнь спину над корытом! Хорошо бы и громадные универсальные магазины. С минимальной наценкой. С кредитом. Пролетарские «О Прентан», «Самаритен», «Галерея Лафайета». Отлично бы!

Ленин уже не думал о похоронах Лафаргов. Как

всегда, его мысль мчалась вперед. Крупская вернула его мысли к сегодняшнему дню:

— Володя.

— Что?

— Ты обратил внимание, как смотрел на тебя Жорес, когда ты прошелся насчет либеральной буржуазии?

В грохоте поезда Ленин не услышал. Приложил руку к уху, наклонив голову к Надежде Константиновне. Она громко повторила свои слова. Ленин усмехнулся. Глаза его по-боевому, остро и непримиримо блеснули.

— Да и Каутский тоже! — крикнул он в ухо Крупской.

Надежда Константиновна победно улыбнулась. Глаза Ленина погасли: вспомнилась поездка в Дравейль. Маленькая гостиная. Камин. Ленин вздохнул.

— Да, Надюша. Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарг.

Несмотря на шум в вагоне, Крупская поняла слова Ленина. Грустно покачала траурной шляпкой. Шипели, открываясь и закрываясь, пневматические двери. Входили и выходили люди. Трудящиеся люди Парижа. Чернь. Рабочие в синих блузах, бедные студенты в беретах, девушки из больших магазинов с полосатыми коробками в руках. У одной из них на пальчике лопнула лайковая перчатка, напоминая лопнувшую фисташку. За окнами проплывали названия знакомых станций, выложенные белыми кафельными плитками по синему: «Halles», «Châtelet», «St. Michel», «Odéon», «St. Sulpice», «Montparnasse», целая полоса париж-

ской жизни — «Vavin, Raspail» — и вот теперь эта полоса кончается навсегда, уходит в прошлое, в историю. Париж уже изжил себя. Выгорел. Он уже не принесет ничего делу, которому Ленин посвятил свою жизнь. Пора рвать с Парижем. После смерти Лафаргов почему-то это стало особенно ясно. «Засиделись мы здесь, в эмигрантском болоте, засиделись».

— А небось, Надюша, у нас в России сейчас настоящая зима. Крепкая, ядреная. Вот бы на конечках прокатиться. Самый раз! Ась, Надюша?

А станции все летят и летят. Как жизнь. «Denfert-Rochereau», «Mouton Duvernet», наконец, вот она, «Alésia», — это уже последняя. Здесь выходить.

— Надя, Инесса, не зевайте, чтоб не прищемило дверью.

Скоро после этого он уехал из Парижа в Прагу. Потом еще поближе к России — в Краков, в Поронино, навстречу Октябрю, навстречу Советам, навстречу своей неизмеримо громадной, вечной, незакатной славе, о которой он ни разу в жизни даже не подумал, навстречу своей смерти, столь же простой, величественной и прекрасной, как и вся его жизнь. Думал ли он, уезжая из Парижа, что жизни его остается всего лишь каких-нибудь двенадцать лет? Может быть, и думал, потому что один лишь он чувствовал, знал, как страшно, нечеловечески страшно он устал телесно.

«Ленин был физически крепкий, сильный человек, — пишет Н. Семашко. — Его коренастая фигура, крепкие плечи, короткие, но сильные руки — все обличало в нем недюжинную силу. Ленин умел, поскольку

он мог, заботиться о своем здоровье. Поскольку мог, то есть поскольку позволяла это его чрезмерно напряженная работа. Он не пил, не курил. Ленин был физкультурником в самом точном смысле слова: он любил и ценил свежий воздух, моцион, прекрасно плавал, катался на коньках, ездил на велосипеде. Будучи в петербургской тюрьме, Ленин каждый день делал гимнастику, шагал из конца в конец камеры... Если бы не железное здоровье Владимира Ильича, он не выдержал бы тяжелого ранения в результате покушения эсерки... Ранение было исключительно тяжелое. Пуля, пронизавшая грудную клетку, залила ее кровью, порвав крупные сосуды. Пуля, попавшая в шею, прошла настолько близко от жизненно важных сосудов (сонная артерия и вена), что Владимир Ильич первые дни выделял с кашлем кровяную мокроту. И тем не менее уже через несколько дней Владимир Ильич почувствовал, что он выздоравливает, и был оптимистически настроен. Несмотря на мольбы врачей повременить с занятиями, Владимир Ильич начал рано заниматься и на упреки отвечал, улыбаясь: «Перемудрили»...»

Считается, что на Ленина было совершено два или три покушения. По-моему, их было больше, но это еще надо проверить. Во всяком случае, с семнадцатого года за ним охотились враги, его травили. Пуля Каплан была отравлена. Сколько это стоило ему здоровья, нервов!

«Последняя болезнь Владимира Ильича началась с незначительных симптомов: у него закружилась голова, когда он встал с постели, и он должен был ухватиться за стоявший рядом шкаф. Врачи, тотчас вызванные к нему, сначала не придали значения этому симп-

тому. А Владимир Ильич стал грустен и задумчив; он предчувствовал беду и на все утешения отвечал: «Нет, это первый звонок». К несчастью всего человечества, прогноз его оправдался...

Не так давно, в январе, мы гуляли по Парижу, и, как всегда, я представлял себе на этих улицах живого Ленина. С утра мы уже успели побывать во многих ленинских местах. Посидели на скамеечке в парке Монсури, где любил сидеть Ленин, когда жил на Мари-Роз. Он обыкновенно устраивался с книжкой возле небольшого искусственного каскада и под шум игрушечных водопадиков, стекавших в пруд, где грациозно плавали белые и черные лебеди, думал свои великие думы.

Доживу ли я до того дня, когда здесь будет поставлен памятник Ленину, сидящему с книжкой на коленях возле вечно живой, вечно текущей воды?

Однажды на вопрос М. Эссен, что ей следует посмотреть в Париже, Ленин сказал:

« — Прежде всего пойти к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез, в музей революции 1789 года и в музей восковых фигур Гревена. В смысле художественного выполнения музей, говорят, немногого стоит, но по содержанию интересен... Ну, насчет музеев, выставок и всего прочего обратитесь к Жоржу, он все это здорово знает и даст вам все нужные указания».

«Жорж» — это Плеханов.

Ленин во всем искал только революцию. Остальное было для него безразлично. Остальное — «обратитесь к Жоржу».

Мы снова — в который раз! — прошлись по аллеям Пер-Лашез, постояли возле Стены коммунаров. И снова мне представились: дождливый декабрьский день, масса блестящих зонтиков, и на краю траурного помоста, среди красных знамен и цветов, небольшая фигурка Ленина, простершего над молчаливой толпой свою крепкую, короткую руку, как бы властным жестом — таким знакомым! — зовущую народы мира сквозь смерть, сквозь огонь революции и войн к миру, к счастью, к жизни. Потом мы побывали в музее Гревен, и я как бы воочию увидел Ленина перед восковыми фигурами Великой французской революции. Вот он, прищурив глаз, рассматривает растрепанную куклу — мадам Роллан, отпрянувшую с ужасом на лице в темный угол искусственной комнаты, в то время как в неестественно черном окне мелькали красные фригийские колпаки санкюлотов и протягивалась на конце полосатой пики мертвая голова казненного аристократа. А вот Марат в ванне, похожей на башмак, и Шарлотта Кордэ в чепчике, с кинжалом в восковой руке. Вот Ленин с недоброй усмешкой смотрит на музыкальный вечер в Мальмезоне, на фигурку великого ренегата французской революции, в белых лосинах, туго натянутых на крепкие ноги, в белом пикейном жилете и в синем фраке, который слушает музыку на фоне красивой летней ночи, видной в от-

крытых дверях балкона. Вот Ленин стоит, рассматривая кровать под кисейным пологом от москитов, белую голову мертвого императора на подушке и большую треугольную шляпу на тумбочке. В музее Карнавале с такой поразительной ясностью я видел Ленина среди самодельных пик 1789 года, революционных воззваний, декретов, бумажных денег, ветхих треуголок национальной гвардии с кокардами, похожими на маленькие мишени. Я представлял, как Ленин трогает круглым носком своего ботинка белый камень Бастилии — единственное, что уцелело от легендарного тюремного замка французских королей. Наконец, мы зашли в Консьержери, и я опять представил себе Ленина среди железных решеток, в сумрачных казематах, перед стеной, где на вечные времена приклепан нож гильотины, тот самый, настоящий, подлинный, срубивший так много виновных и невинных голов, чем-то отдаленно напоминающий лемех какого-то странного и страшного плуга.

Ленин постучал ногтем по старому железу, и оно ответило еле слышным, угрюмым звоном далекого колокола, а потом Ленин прошел по кирпичному полу узкой камеры, где сначала на коленях молилась перед казнью Мария Антуанетта, а потом, мучаясь от страшной боли, лежал на грубой деревянной скамье сам Робеспьер, худенький самолюбивый молодой человек с раздробленной челюстью, ожидая своего смертного часа. Ленин молчаливо потрогал решетку, которую некогда изо всех сил тряс конопатый гигант Дантон, крича на всю тюрьму своим львиным голосом: «Граждане! Революция сошла с ума!»

В районе Одеона, на бульваре Сен-Жермен — через улицу,— против памятника Дантону, зовущему вперед национальных гвардейцев, стреляющих с колена, есть старинные ворота, ведущие в узкий средневековый двор. В этом сыром и темном дворике, где никогда не просыхают каменные плиты, друг против друга стоят два ветхих флигеля. В одном помещалась типография, где Марат печатал свой «Друг народа», а в другом, на втором этаже, за маленькими, как бы клетчатыми окошками, жил изобретатель гильотины доктор Гильотен. Этот уголок старого революционного Парижа некогда, в моей молодости, показал мне Шарль Раппопорт, великий знаток истории Парижа. Насладившись моим восхищением, он сказал: «Я водил сюда Ленина. Он был в восторге и потом часто повторял: «Справа Марат, слева Гильотен. Это великолепно!» Здесь же, в районе Одеона, на улице Старой Комедии, среди закоулков дряхлого Парижа, Раппопорт показал мне самый старый ресторан в мире «Прокоп», открытый в 1689 году. Мы зашли в него и выпили по рюмке мандарен-кюрасо со льдом — угощал Шарль Раппопорт! На стенах висели портреты самых выдающихся посетителей этого заведения: Вениамин Франклин, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Д'Аламбер, Мольер, Дидро, Дантон, Марат, Робеспьер...

— Не хватает портрета Ленина,— сказал Шарль Раппопорт,— но я не сомневаюсь, что он когда-нибудь здесь появится, потому что Ленин бывал в этом кафе...

Был теплый день парижской зимы, которая шла на убыль и уже еле заметно, тонко дышала весной, запа-

хом пармских фиалок, синевших кое-где на углах в плоских корзинах цветочниц: маленькие круглые букетики, тесно прижавшись друг к другу, как бы хотели согреться среди все же еще очень зимнего города. Весь Париж был в нежной опаловой дымке, и шафранно-желтый кружок январского солнца с трудом проглядывал сквозь темно-перламутровые тучи над Луксорским обелиском на площади Согласия, над конями Марли, над голой, черной каштановой рощей в начале Елисейских полей, как бы нарисованной углем, над еле заметным вдалеке голубым силуэтом Эйфелевой башни. Есть в парижской зиме что-то китайское. Во всяком случае, я видел в январе в Пекине, над мраморными мостиками и ажурными столбиками площади Тяньаньмынь, рядом с крышей знаменитых ворот, точно такое же солнце — печальный кружок, как бы очень тщательно нарисованный желтой тушью... И тени еще обнаженных деревьев, и во всем тончайшее предчувствие весны. В такие дни в Париже прохожие более охотно, чем всегда, останавливаются возле витрин эстампных магазинов, перед выставленными картинами. Вы идете по улице Боисси, как по залам Музея новейшей живописи. Моды менялись, но не слишком быстро. В Париже моды меняются, вопреки общепринятому мнению, очень медленно. Сначала барбизонцы, потом импрессионисты, потом постимпрессионисты. Пожалуй, на этом мода и остановилась. Абстракционисты все никак не могут войти в моду. Их не любят. Очень возможно, они так и умрут в витринах эстампных магазинов парижской зимы. Ленин видел в витринах постимпрессионистов и Пикассо голубого периода. Пикассо до сих пор так же знаме-

нит. Рисунок Пикассо — портрет советского космонавта Юрия Гагарина в крылатом шлеме — полуголубя, получеловека — выставлен в парижских витринах, напоминая, что в мире давно уже началась эпоха Ленина.

Как жаль, что Ленин не дожил до этих дней!

Над восьмигранным прямоугольником Вандомской площади, где возвышается «столбик с куклою Чугунной», возле самой фигурки императора в дубовом венке и тоге цезаря, плыло все то же солнце. Может быть, Ленин видел такое же солнце, — холодное, без лучей, желтое солнце парижской зимы. Но, вернее всего, проходя по улице Мира, мимо витрин, из которых ослепительно блестели в глаза драгоценные камни стоимостью в тысячи, сотни тысяч, а даже, может быть, миллионы франков, среди всего этого оскорбительного, бессмысленного богатства, доведенного до полного идиотизма, Ленин видел перед собой Вандомскую площадь в дни Парижской коммуны, поваленную колонну и громадную чугунную тушу императора, которая лежала, продавив мостовую, и мешала движению через площадь — прямая, страшная, глупая. Дорого заплатил знаменитый художник-коммунар Курбе, председатель комиссии художников, созданной правительством Коммуны, один из главных инициаторов низвержения Вандомской колонны, за то, что так энергично, по-революционному расправился с памятником тирана, если уж не смог расправиться с самим тираном: в течение двух месяцев в невероятных условиях его гноили в тюрьме, его водили скованным по улицам Парижа, плевали ему в лицо. Ему предъ-

явили иск в сумме свыше трехсот тысяч франков, и ему — славе Франции! — осталось одно — бежать за границу. Он скрылся в Швейцарии и умер в изгнании. Неужели судьба всех воистину великих и благородных людей, настоящих революционеров и патриотов — умирать в изгнании?

Ленин был человеком бесстрашным и, быть может, боялся лишь одного — остаться вечным изгнанником и умереть вдали от родины, которую он так беззаветно любил.

К счастью, этого не случилось. Скоро, даже гораздо скорее, чем он мог предполагать, Ленин вернулся на родину, и день его возвращения, когда прозрачной апрельской ночью при свете военных прожекторов, вырвавших из темноты его маленькую фигуру с протянутой вперед короткой рукой, окруженный толпами русского революционного пролетариата, стоя на башне броневика, он проехал через всю столицу государства Российского, стал первым днем провозглашенной им грядущей социалистической революции.

Желтое солнце парижской зимы медленно уходило за Триумфальную арку на площадь Звезды, уходило за Нейи, за обнаженные деревья Булонского леса, за готические крыши Сен-Клу на высоком берегу вечерней Сены. Мы шли по Парижу, иногда останавливаясь перед маленькими мемориальными досками с именами героев Сопротивления, украшенными букетиками цветов и пожелтевшими трехцветными лентами

венков, превратившихся в проволочные скелеты — ужасные напоминания о немецком фашизме, в течение четырех лет терзавшем Францию. Каждая такая мраморная доска освящала место, где на черно-синей парижской мостовой пролилась драгоценная кровь патриота. Каждый букетик полузавядших цветов напоминал нам легенду о Габриеле Пери:

Гортензий голубой венок
Расцвел над ним бог весть откуда.

Когда мы подошли к Елисейским полям, погода вдруг испортилась. В один миг все вокруг потемнело. Возле «Фигаро» в лицо дунул резкий ветер. Это уже не было мягкое дыхание зимней Атлантики, а острый, пронзительный холод, принесенный откуда-то с далекого Севера. Мы едва успели добежать до угла улицы Маринан, как пошел снег — не тот мягкий, легкий парижский снег, который не жжет, а лишь нежно щекочет ресницы, а настоящий полярный снег, секущий лицо, как розга. Мы поспешили войти в угловое кафе и сели возле громадной витрины, за которой была видна улица, мутная от летящего снега. Теперь Елисейские поля скорее напоминали какую-то большую московскую улицу в новом районе, может быть, на Юго-Западе или в Черемушках, где по странной прихоти воображения бежали в метели слишком легко одетые для такой погоды парижанки на гвоздиках каблучков, в высоких черных и белых прическах, с пугающими глазами, резко подрисованными жирным угольным карандашом, на нежных фарфоровых лицах, фиолетово озаренных огнями синема. Толпа бежала к входам в метро, и люди один за другим скрывались в его

недрах, откуда, как из прачечной, вырывались клубы пара. Кафе быстро наполнилось посетителями, которые сбрасывали со своих шляп и макинтошей легкие куски снега, таявшего на красных коврах и дорожках кафе. А за стеклянной плитой нашего громадного окна, среди сверкающих лампионов Елисейских полей, продолжала неистовствовать метель, выпуская откуда-то сверху, с крыш семиэтажных домов, заряд за зарядом.

Было 21 января, годовщина смерти Ленина. Время снова потеряло надо мною власть, и я увидел Москву 1924 года, страшный январский день: сильную утреннюю оттепель, которая к вечеру превратилась в небывалый, лютый мороз, убивавший на лету птиц, падавших как камни на скамейки московских бульваров среди треска лопавшихся деревьев.

Жестокую стужу костры сторожили,
Но падала температура
На градус в минуту, сползая по жиле
Стеклянной руки Реомюра.

Бульвар, пораженный до центра морозом,
Деревьев артериями синий,
Уже не бисквитом хрустел, а склерозом,
На известь меняющий иней.

И землю морозом сковав и опутав,
Хирурги хрустальной посуды
Выкачивать начали кровь из сосудов,
Чтобы стужей наполнить сосуды.

И вынули сердца таинственный слиток,
И пулю,— засевшую слепо,
И мозг, где орехом извилины слиты,—
Поступков и совести слепок...

...Но я не пришел посмотреть и проститься:
Минута, навеки и мимо...
Бывает, что стужею сердце, как птица,
Убито у двери любимой.

Бывает, что сердце становится слепо
И сил не хватает годами
Высокого лба, как отцовского склепа,
Прощаясь, коснуться губами.

Вьюга бушевала. Вокруг пили кофе. Звенели ложечки. И потом в дыму метели я увидел Красную площадь и Мавзолей Ленина — сначала деревянный, а потом гранитный — и услышал бой часов на Спасской башне.

История делает славу на ощупь,
Столетиями пробуя сплавы,
Покуда не выведет толпы на площадь
К отлитому цоколю славы.

Метель на Елисейских полях продолжала кружиться, но вдруг совершенно неожиданно ветер упал, снег прекратился, стало тепло. Мы вышли из кафе. На Елисейских полях почти не было прохожих, только мчались потоки автомобилей, отражая в своей лаковой поверхности волнисто-льющиеся, светящиеся рекламы синема. На широком тротуаре лежал тонкий слой хрупкого снега, уже таявшего под ногами; снег был освещен неподвижным розовым заревом «Лидо»; и тревожно бегал взад-вперед потерявшийся во время метели, остриженный по самой последней моде черный пудель с длинными ляжками, оставляя на девственно-белом тротуаре трефовые следы.

1960 — 1964
Москва — Переделкино

Катаев Валентин Петрович

Маленькая железная дверь в стене

М., «Советский писатель», 1965, 204 стр.

Редактор *Рюриков Ю. Б.*
Художник *Акимов Г. В.*
Худож. редактор *Балашева Е. И.*
Техн. редактор *Кандыкин А. Е.*
Корректор *Морозова Л. Н.*

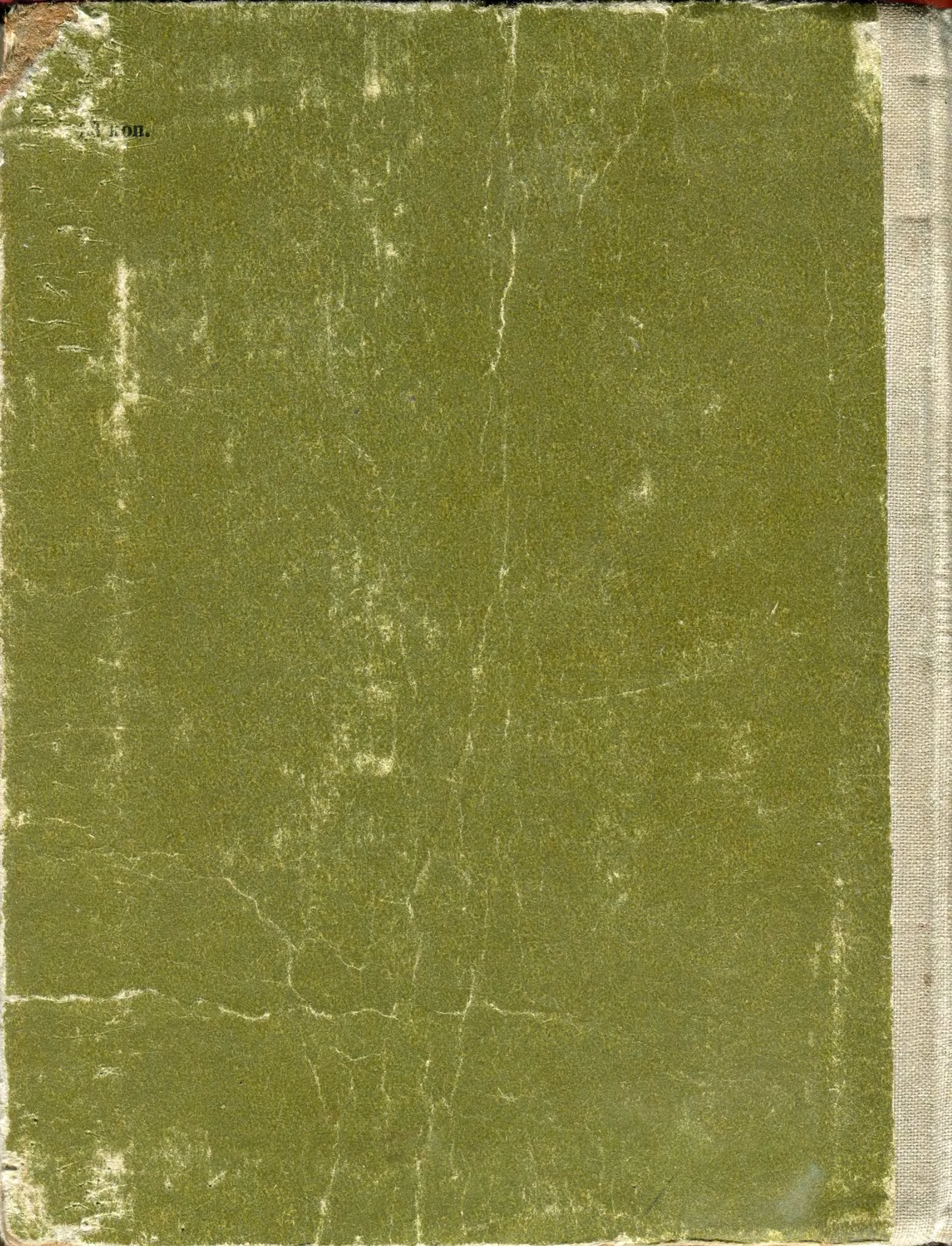
Сдано в набор 11/IX 1964 г. Подписано к печати 12/XI 1964 г. А09431
Бумага 70×108 1/32. Печ. л. 6 3/8 (8,92)
Уч.-изд. л. 7,57. Тираж 75 000 экз.
Заказ № 130 Цена 33 к.



Издательство «Советский писатель»,
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета
Министров СССР по печати
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.


библиотека
Беспалова
СССР


коп.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Валентин Катаев

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ